

---

# «Из личной моей жизни»

## — отрывки поэмы

К истории Дарвиновского Музея, 1950-е

Александр Федорович Котс

— «Говорят, что человек, пишущий для потомства, уже не может быть безусловно искренним.»

Разделяя полностью это суждение, я все же попытаюсь закрепить ряд образов и сцен времен моей далекой юности, и даже более того: коснуться наиболее интимных и отчасти никому доселе неповеданных сторон ее.

И поступая так, я руководствуюсь тремя мотивами.

Так, всего прежде: я пишу не для печати, но единственно лишь для себя и для своей семьи.

Второй мотив: желание рассказать о подлинных, интимных стимулах, приведших к основанию **Дарвиновского Музея**, кроме тех, которые доселе приводились мною и касались только внешней стороны вопроса.

Как ни тесно связана была вся моя жизнь с названным Музеем, и как ни реально отразились на его судьбе участие и роль доселе приводимых лиц, — действительные факторы и стимулы к его созданию коренились глубже, — те подпочвенные воды, что определяли силу и напор моего «творческого гейзера».

Третий мотив: словами **Герцена** хотелось нижеследующими страницами «смягчить укоряющие воспоминания, примирить с собой и забросать цветами один женский образ, чтобы на нем не было видно слез».

Но есть еще один мотив, и еще более решающий: на частном случае моей приватной скромной жизни показать ту направляющую нить, которая незримо связывает самые несродные, отрывочные факты и явления в одно законченное целое и целиком оправдывает их.

Наглядно показать, как из «случайных» встреч, поступков и порой ничтожных с виду эпизодов настоящего формируется будущее значение событий, выходящих за пределы частной жизни, осознать эту всепримиряющую и связующую «нить», — не часто удается так легко и с той же очевидностью, как на примере моей жизни.

Что же до сомнений, вызываемых нашим эпитафием, то отвести укор в неискренности рассказа можно без труда, если заранее условиться на счет пределов ожидаемой правдивости.

В отличие от известной формы юридической присяги, мы не полагаем нужным в нашем изложении показывать «**всю истину**», а только в меру оправдания ее той путеводной нитью, о которой говорилось выше.

Но свидетельствуя, говоря о ней, мы будем абсолютно искренни, будем правдивы до конца, не останавливаясь перед мелочами повседневной жизни, памятуя давнее и основное правило, гласящее: «*Natura maxima est in minimis*» — Природа всего более величественна — в малом.

Продолжая приведенное сравнение, уместное для автора-биолога, можно сказать:

Как в описании отдельных форм животных с эволюционной (философской) точки зрения, мы разграничиваем свойства и черты «нейтральные», т.е. для жизни бесполезные, но и не вредные, и признаки «витальной» важности, т.е. решающие для нее, так и на жизненном пути любого человека различать приходится явления и факты маловажные, ничтожные для жизни, и другие полные глубокого значения и смысла.

В какой мере все эти сравнения оправданы — об этом пусть расскажут нижеследующие страницы, в подтверждение давней истины, что лучшим «Предисловием» является лишь «Послесловие» перекликание «Пролога» — с «Эпилогом».

На вопрос о месте моего рождения, я, обыкновенно, говорю: «В Москве!», сознательно — увы! — скрывая истину.

Моя действительная родина Борисоглебск, — уездный город, где мои родители остановились на пути в Москву, куда я привезен был парой дней спустя.

Родился я в гостинице, не из шикарных, судя по тому, что увидел я свет на сундуке, доселе сохранившемся, как символ моего демократичного рождения.

И столь же грустным оказался, по рассказам моей матери, приезд в Москву и остановка в «Меблированных Комнатах» в Газетном переулке, приютивших временно моих родителей, меня и маленького брата, лишь немногим меня старшего.

Но прежде, чем переходить ко времени, мне лично памятно, два слова о моих родителях.

---

То было на исходе третьей четверти минувшего столетия, когда среди немецких эмигрантов, устремлявшихся в Россию в поисках работы, оказался молодой ученый, доктор философии Геттингенского Университета.

Редким сочетанием талантов был отмечен молодой ученый: трое Муз стояло некогда у его детской колыбели, наделив его тремя дарами и определив троякое его призвание — Ботаника, лингвиста и поэта.

Без рекомендаций и без средств наш молодой ученый приезжает в царскую Россию, уповая только на свои дары, увы! — не слишком ценные и благодарные...

За неимением спроса на поэта и ботаника, возможность заработка обещали только знания филолога-лингвиста: место школьного учителя, уроки иностранных языков в провинциальной школе.

Не совсем излишней оказалась, впрочем, и Ботаника. Обширные гербарии, попутно собранные молодым учителем в свободное от службы время, привлекли внимание видного профессора в московском Университете, — В.А. **Цингера** и обусловили позднее перевод ботаника-учителя в Москву.

Но самым знаменательным для жизни молодого геттингенца оказалась все же не сухая филология, и не ботаника, а самое нежизненное с виду: — поэтическое дарование.

Прелестные по музыкальности, богатству языка и глубине лиризма, незатейливые по сюжету песни и сонеты привлекли **заочное** внимание будущей жены поэта, их **заочное** знакомство и **заочную** помолвку.

Оставим же на время геттингенского ботаника-поэта и переведем наш взгляд на девушку, доверившую свою жизнь безвестному ей автору сонет и песен.

Дочь лесничего, рано осиротевшая, воспитанная у родных на положении приемыша, не знавшая любви и ласки, молодая девушка сумела рано проявить большую волю и самостоятельность. Семнадцати лет она бросает дом своих опекунов и поступает воспитательницей в дом богатого помещика — **Некрасова**, — брата великого поэта, частого гостя в родовом имении.

Получив самое скромное домашнее образование, юная учительница вынуждена была сама готовиться ночами к каждому уроку, чтобы выполнить с достоинством обязанности педагога.

В эту бытность воспитательницей, молодая девушка, повторно отвергавшая блестящие, заманчивые «партии», не отвечавшие ее ригористическим воззрениям на брак, — услышала впервые через третьих лиц о незадолго перед тем приехавшем в Россию молодом поэте и ботанике.

Которому из этих двух призваний удалось пленить воображение и чувство юной пуританки, — мы не знаем: дочь лесничего, страстно любившая цветы, она могла откликнуться на зов ботаника, не меньше, чем на зов поэта.

Так, или иначе, но языком цветов, или сонетов, подготовлена была сначала переписка, а затем и жизненная встреча двух людей, предельно разнившихся по характеру.

Там — увлекающийся, пылкий, но безвольный, женственный по складу своего ума поэт-мечтатель и ученый.

---

Здесь — не по годам уверенный «мужской» характер, трезвый ум и непоколебимость воли юной ригористики.

Такова была дисгармоничная по виду пара, так «случайно» встретившаяся на жизненном пути.

Использовать и примирить для жизни эти две разноречивые черты, объединить их в целостном призвании, творчески посилено закрепить и выявить его во вне, — была задача, скромное решение которой выпадет со временем на долю и на счастье их сына.

Но сначала — пара слов о скорбном эпилоге этой нашей небольшой «прелюдии».

Прибыв в Москву с семьей, без всяких средств и без работы, молодой ученый, при содействии академических кругов, добился все же места штатного учителя Гимназии.

Жизненный путь казался обеспеченным.. увы! Жизнь улыбнулась только на прощании: жестокая простуда, схваченная в жгуче-ветренный январский день, свела в течение немногих дней в могилу молодого неудачника.

Осталось грустное наследие: обширные гербарии, альбом стихов, да двое мальчиков: один — двух лет, другой — десяти месяцев, Альфред и Александр.

Старший — весь в отца, с таким же тонким профилем, охваченным густыми копнами каштановых кудрей, всеобщий баловень-любимец...

Младший, — «некрасивка», в том полуэмбриональном возрасте, которым восторгаются одни лишь матери.

К которому из двух малюток перейдет духовное наследие отца? Кому из двух будет дано продолжить борозду, едва лишь начатую им?

Но не об этом думала когда-то молодая женщина, склоненная над гробом и в заботе о своих малютках.. А другой вопрос: «Куда деваться и чем жить?» — стоял сурово и неумолимо.

Не было средств, ни заработка, ни родных, но было нечто большее: был героизм матери и перед склонились внешние преграды жизни.

Непосредственную остроту момента удалось отчасти сгладить тем, что были проданы Петровской С/Х Академии обширные гербарии через посредничество профессоров **Тимирязева** и **Цингера**. Но то была лишь временная помощь и ближайšie три года протекли под знаком жесточайшей бедности, в борьбе за голое существование.

Отец! Не знал я никогда Тебя! И только образ Твой, как он, по счастью, сохранился на двух карточках, и еще ярче и интимнее в Твоих чудесных, незатейливых стихах, — роднит меня с Тобой так же волнующе, как если б мне дано было видать Тебя при жизни.

Вот — одна из них. Несколько строгие черты лица, смягчаемые мягким ртом; волнистые, зачесанные кзади волосы, высокий лоб, прямой, открытый взгляд живых и темных глаз... Напрасно стал бы я искать подобия какого-либо сходства этих черт со мной. Они всецело перешли на сына-первенца, моего брата, вскорости последовавшего за отцом.

Вторая карточка: Отец в раннюю пору жизни, двадцати примерно лет. Сопоставляя этот снимок с тем, каким я был когда-то в том же возрасте, нельзя не поразиться сходством..

Но, увы! лишь внешних черт! Ни лингвистических отцовских дарований, ни его большого поэтического дара мне не довелось наследовать. Только любовь к природе мой отец, быть может, заронил в меня, дар, лишь усиленный подобным же, полученным от матери.

А вот — и образ моей матери, в дни ее юности. Охваченной копнами густых волос, глядит на вас лицо, ничем не выдающее своего внутреннего мира, если бы не сомкнутые губы, говорящие о строгом и большом характере.

Жизнь подтвердила этот диагноз, как и, по-видимому, унаследованность этой настойчивости младшим ее сыном.

И, однако, каковы бы ни были эти наследственные свойства, развернуться им дано было лишь с помощью целого ряда лиц, позднее встреченных на жизненном пути. О некоторых из них поведают последующие страницы.

Самые ранние воспоминания мои, помимо тех, что связаны с домашним обиходом и животным миром (правда, лишь игрушечным..) касаются семьи профессора В.А. **Цингера**, известного геометра и знатока ботаники, на почве каковой и зародилась кратковременная близость этого ученого с моим отцом.

Помню себя в квартире **Цингеров**, мальчонком лет шести, то декламирующим детские стихи и басни, то следящим за искусством дочерей-подростков, Юлиньки и Лизаньки, старавшихся занять меня, рисуя акварелью кошек и собачек, то в столовой, длинной, полутемной за столом, в семье профессора и самого его, высокого и пожилого с длинной трубкой и в халате...

Привожу эти картины-образы лишь потому, что именно знакомство с **Цингером** могло бы в корне изменить всю мою жизнь.

Дело в том, что дружбе **Цингера** с моим отцом сопутствовала еще большая профессорской жены и моей матери, и после преждевременной кончины первой пожилой вдовец-ученый был не прочь жениться на ее подруге.

И, казалось бы, что в случае этого брака, будущность моя гораздо легче и бескровнее определилась бы по линии академической: недаром оба сына **Цингера** позднее проявили себя крупными учеными.

Тем показательнее, что на предложение профессора, столь лестное по виду, моя мать ответила отказом, исходя из опасения, что ее оба мальчика окажутся лишь в положении пасынков в чужой семье.

Подсказанный лишь материнскою заботой этот вызов жизни, оказался полностью оправдан в будущем, хотя в итоге самого отказа вместо обеспеченной спокойной жизни началась другая, полная тревоги и заботы о насущном хлебе.

К этим повседневным внешним хлопотам в борьбе за жизнь присоединились непрестанные заботы матери о моем брате: слабый, узкогрудый, он превосходил меня во всем: и внешне и обилием способностей, не только к языкам, но и различным видам техники, особенно же в рисовании. Но крепостью здоровья брат не мог хвалиться и вся жизнь в нашем доме протекала в постоянном страхе за любимца-первенца. Не то, чтобы я чувствовал это неравное к нам отношение матери, но частые недомогания брата темной тенью опускались на нерадостную без того тихую жизнь маленькой квартирке.

Помнится, как под влиянием подслушанного разговора старших, матери и немки-бонны, о плохом здоровье брата и о том, что по словам какой-то «странницы» он «не жилец», я ночью горячо молился за братишку, не подозревая, что на мою долю выпадет впоследствии содействовать его безвременной кончине.

Заключать отсюда об особой дружбе с братом было бы неверно. Вспыльчивый — в отца — Фредя нередко давал поводы к ребячьим ссорам, при которых большее мое спокойствие давали перевес в том смысле, что упреки, выговоры старших направлялись более на старшего из мальчиков.

При всем различии характеров, две страсти нас объединяли: содержание живых животных, всего чаще птичек в самодельных клетках и, в особенности, собиранье бабочек.

Доселе памятны совместные блуждания с сачком по рощам Зыкова, Петровско-Разумовского, по просекам Сокольников, занятия по сушке, расправлению наших трофеев и определению по немецкой книге Шпаммера, доселе сохранившейся.

В этих занятиях, я, сознавая превосходство брата в области определения, брал на себя, как более здоровый, крепкий на ногах, обязанность ловца.

Также открыто уступал я брату и в его таланте к рисованию, способности незаурядной, как то явствует из сохранившихся доселе у меня цветных перерисовок бабочек из упомянутого руководства. По уменью схватывать контуры и уверенности в пользовании акварелью брат мой к 10—11 годам мог бы соперничать с такими дарованиями, как наши лучшие теперешние рисовальщики животных стиля **Кондакова** и **Формозова** в их молодых годах.

Очень характерно, что эта далеко незаурядная у нас обоих страсть к животным, к рисованию и коллектированию, не сулила закрепиться в нашем будущем призвании. Мешали этому отчасти недостаток средств, отчасти вообще отсутствие в семье людей, могущих уловить в наклонностях обоих мальчиков залог их будущей профессии.

Но главным тормозом являлся все же недостаток средств. Даванием матерью уроков иностранных языков, как и доходами от небольшого дела, обеспечивалась скромная возможность доставления нам домашнего образования до поступления в школу. В частности мы оба с самых ранних лет владели хорошо немецким и французским языком.

Но для оплаты школьного преподавания заработков не хватало, обстоятельство, заставившее мою мать отдать меня на положение «бесплатного» ученика в московское немецкое училище Петра и Павла, и лишь старшего — в Гимназию.

Но этим самым предопределялась будущность обоих братьев, старшего, на базе высшего образования, поскольку поступления в Университеты были обеспечены для всех окончивших гимназии безотносительно к отметкам.

Но не то для младшего. По не совсем понятным ныне для меня мотивам, суждено мне было получить **реальное** образование, а не «классическое», вопреки тому, что в «Петропавловке» имелись отделения для «классиков» и «реалистов»:

Между тем, окончившим это последнее «путевки в жизнь» были довольно ограничены: либо — техническая, инженерная (по сдаче конкурсных экзаменов), либо — торговая.

Но первое всецело отпадало за моей феноменальной тупости математической, и, таким образом, единственной мне открывавшейся дорогой в жизнь по окончании Средней Школы, была деятельность.. «коммерсанта».

С двух сторон отдача меня в «Петер-Шуле» угрожала быть фатальной: я имею здесь в виду не только преграждение мне доступа к Высшей Школе, но и специфический состав учащихся.

В описываемую пору, на исходе прошлого столетия громаднейшее большинство последних были немцы. И хотя не мало было русских (в том числе таких впоследствии больших ученых, как великий физик **Лебедев**..), но в общем тон преподавания, как и состав учащихся был специфически немецкий, как и большинство домов, дети которых отдавались в эту школу.

Но тем самым до известной степени определялся и культурный уровень, вернее: стиль культуры большинства учащихся, в особенности тех, которые учились в отделении «реальном», что для большинства было тождественно — с «коммерческим».

Как дети коммерсантов, эти мои сверстники по классу назначались также для «коммерции», что незаметно налагало свою руку на влечения и интересы мальчиков и самое знакомство с их домами не могло поддерживать влечения к идейной, умственной культуре.

Убеждаться в этом мне повторно приходилось, познакомившись с одним моим случайным сотоварищем по парте, сыном управляющего крупной винной фирмой «**Жорж Лева**», Фридриха Бейера.

Солидный, представительный, он занимал прекрасную квартиру, фешенебельно обставленную, но напрасно глаз вошедшего стал бы искать подобие книжного шкафа, или книг, не говоря уже о русских, но хотя бы лишь немецких классиков. Духовные потребности главы семьи и домочадцев удовлетворялись чтением «Московского Немецкого Листка» и, в крайнем случае «Петербургского Герольда».

Такую скудость умственной культуры дома было бы несправедливо обобщать чрезмерно. По свидетельству биографов Антона Павловича **Чехова**, когда-то именно московская, немецкая газетка тонко оценила первую постановку «**Чайки**» нашего Художественного Театра, не в пример значительному большинству отечественных критиков.

Но мир московских немцев-коммерсантов в общем все же поражал духовной скудостью и этот элемент мещанства повседневной жизни не могли смягчить ни увлечения спортом (в здании немецкого «Турн-Феррейна»), ни участие в охотах, или голубиных садках.

В этот мир невольно приходилось в свое время окунуться пишущему эти строки в бытность мальчиком, учащимся в немецкой «Петер-Шуле», ничего не давшей кроме повышения знания иностранных языков.

И можно без труда, предвидеть, что сближение с этими кругами лишь усилило бы удаление от науки и академической карьеры, предренное отдачей меня в школу с чуждым для меня коммерческим уклоном.

Таковы были угрозы моему призванию в бытность мою «реалистом», мальчиком 11-ти лет, учащимся второго класса.

Заменить **реальное** образование **классическим**, единственным в ту пору открывавшим двери Университета, можно было лишь переведя меня в Гимназию. Но с этим переводом надо было торопиться во внимание к различию программ обеих школ и, в частности, по языку латинскому, — этой основе, «квинт-эссенции» классической тогдашней школы.

И поскольку он преподавался с первого же класса, каждый лишний год, учения в реальной школе, затруднял возможность наверстать упущенное по латыни, а тем самым перевод меня в Гимназию.

Для поступления в последнюю мне оставались считанные месяцы и годом позже оно было бы невыполнимым, ибо одолеть приватным образом программу по латыни за два года было бы мне не под силу.

С этим переводом приходилось торопиться: либо в разбираемую пору, либо никогда.

Но думать о замене моего бесплатного учения — платным, полагавшимся в гимназии, было нереально, из-за ограниченности средств у моей матери.

Решение проблемы выпало на долю самой жизни.

Слабый и с склонностью к туберкулезу, брат ранней весной 1891 года заболевает воспалением легких и при том в тяжелой форме, в такой степени, что долгие недели мне не дозволялось его видеть. Наконец, больной настолько поправляется, что мне разрешено свидание с ним.

Помню его лежащим, бледным, похудевшим, с удовольствием внимающим моей ребячьей болтовне.

Не помню, по какому поводу возникло между нами разногласие, нежданно превратившееся в ссору, вздорную, ребячью, много раз случавшуюся раньше.

Но не то на этот раз. Ослабленному организму не под силу было вызванное этим возбуждение. Гнев разрешился плачем, плач перешел в рыдание, в истерику... В испуге бросившись за матерью, я выбежал из комнаты. Живым я брата после этого уже не видел.

Под влиянием душевного волнения болезнь бросилась на мозг. Два дня мучительной агонии и в бессознании брат умирает уступивши мне, невольному виновнику его безвременной кончины, место в «жизненном челноке».

Доселе сохранилась у меня фотографическая карточка, рисующая нас обоих в лодке, по тогдашней моде, в ателье фотографа, на фоне бурного, бушующего моря.

Примитивная по виду, эта карточка полна глубокой и трагической символики, напоминая, что обоим маленьким матросам было тесно в углу челнока. Стремительным, нежданным шквалом предредила гибель старшего из них и, облегченный дорогой ценой, челн жизни устремился по открывшемуся для меня простору.

Но не сразу. И напрасной оказалась бы потеря, если бы не новое и вдумчивое направление челна.

«— Да переведите же вы Шуру, вместо Фреденьки, в Гимназию!» — не уставала говорить настойчиво и убежденно моей матери учительница брата, молодая девушка, А.Н. **Милотворская**.

Окончившая незадолго перед тем гимназию, при том одну из тех немногих о ту пору, где преподавалась девушкам латынь, живая, энергичная, типичный образец передовой тогдашней женской молодежи, Александра Николаевна сыграла роль, решающую в моей жизни, настояв на переводе меня из реального училища в гимназию, успешно подготовив меня по латыни в пару месяцев.

Не менее существенно и плодотворно оказалось самое общение мое с моей учительницей. Надо было видеть, а не только слышать, как, уверенно и мило поджимая губы, говорила Александра Николаевна о **Тимирязеве, Столетове** (со слов ее бывшего жениха, известного позднее физика Н.П. **Кастерина**, женой которого она позднее стала..), чтобы оценить ее влияние на меня.

Впервые в деловую обстановку жизни с повседневным будничным ее укладом, ворвалась струя идейных помыслов и интересов, зазвучали имена ученых и рассказы о московском университете, о столичной профессуре..

Слушая эти рассказы, мне казалось, будто новые, невидимые нити протянулись от любимых бабочек и птиц к чему-то важному и нужному, к чему-то большему, чем лишь простое любование ими.

Незаметно заронилось, крепло и росло во мне влечение к этому дотоле неизвестному мне миру, полному какого-то большого, смутного, хотя и безотчетного в ту пору обаяния.

Итак, облекшись в форменное, гимназическое платье брата, не смущаясь большим «индексом» массивной братниной фуражки, я, двенадцати лет, вступил во второй класс «второй» тогдашней Прогимназии, преобразованной затем в 7-ую полноклассную московскую Гимназию.

Рассказывать о годах обучения в ней — не входит в мою тему и тем менее, что об отдельных эпизодах и преподавателях мне приходилось говорить отчасти в моем очерке истории Музея.

И поэтому, оставив за собой вернуться к одному ответственному эпизоду моей школьной жизни, обращаюсь к другой ее странице, еще более решающей.

Я разумею самую среду учащихся, столь совершенно непохожую на таковую «Петер-Шуле».

Получившая название «дворянской» (из-за приуроченности к ней питомцев бывшего Пансиона детей московского дворянства) эта бывшая моя гимназия была весьма неоднородна по составу и сословной принадлежности учащихся, охватывая в равной мере сыновей чиновников, священников и мелких служащих..

И все же общий уровень учеников был несравненно более интеллигентным, разумея под банальным этим словом, большее стремление, тяготение к идейной, умственной культуре.

Две семьи, два дома оказались для меня в лице их домочадцев, а не только сыновей, решающими и оставили глубокий след на всей моей последующей жизни.

Две семьи, обе «разбитые», обе — с большой наследственной культурой, обе давшие так много окружающим и обе так бесцветно и трагически угасшие в своих незаурядных, даровитых детях.

---

С двойственным, тяжелым чувством мне приходится произнести фамилию одной из них. Но наперед короткий абрис прошлого этой семьи, поскольку до меня случайно долетали беглые, отрывочные данные.

В исходе третьей четверти минувшего столетия, где-то в Крыму, его степных просторах, в некоей усадьбе, или небольшом поместье, проживала полу-русская, полу-немецкая семья, дисгармоничностью родителей, напоминавшая мою.

Отец — немецкого происхождения, Виктор **Шперлинг**, незадолго перед тем окончивший известную в Германии Сельско-Хозяйственную Академию в Проскове, — ученый агроном, с влечением к литературе.

Мать, рожденная **Бугайская**, Н.М. из подмосковного дворянства (дед — строитель пресловутого московского Манежа..).

Трое детей, два мальчика, Сергей и Николай, и меньшая дочь, Мария, не достигли еще отроческих лет, когда постиг их развал семьи.

Забрав детей, мать оставляет мужа, уезжает от него в бывший Царицын, а оттуда для образования детей в Москву.

Сняв небольшую скромную квартиру на глухой доньне улочке (Малой Никитской), мать помещает сыновей в ту же Гимназию, и тот же класс, в которые перевели меня.

Два брата **Шперлингов** за той же партией обращали на себя внимание своим несходством: старший, худощавый с острым и открытым взглядом (как у матери), Сережа, оттенялся выгодно от пухлого и мешковатистого брата, Коли.

Мелкая случайность познакомила меня с обоими.

Не слишком «компанейский», не легко сближаясь вообще со сверстниками по классу, я не прочь был все же повозиться с тем, или другим из них на перемене.

И, схватившись как-то в шуточной борьбе со старшим Шперлингом, я чувствуя, что падаю, увлек его с собой, сопровождая общее падение фразой, вычитанной из Майн-Рида (и произнесенной раненым индейцем, успевающим послать смертельный выстрел своему врагу: «Так-то лучше и справедливее!» «Поплыvem вместе!»).

Эта случайно мне пришедшая на память фраза была поводом к сближению: Разделяя общие ребятам того времени и возраста симпатии к Майн-Риду, в частности к роману, из которого я позаимствовал ту фразу («Золотой Браслет — Вождь Индейцев») мой партнер, Сережа Шперлинг интересовался также собиранием монет и марок, и — что было для меня гораздо более заманчиво — попутно собирал и птичьи яйца.

Так, или иначе, но при помощи монет, индейцев, марок и яиц, ускорило сближение мое с братьями Шперлингами, возымевшее решающее следствие во всей моей последующей жизни.

— «Мама, вот — Котс!» — с этой короткой репликой я был введен неделей позже в небольшую комнату, служившую одновременно гостиной и столовой.

Небольшого роста, еще молодая полная дама, сидя в кресле и дотоле занятая чтением, отвела глаза от книги и приветливо мне протянула руку.

Как ни юн и как ни мало опытен я был в мои 13 лет, но первое, что поразило меня в этот миг — это совсем иной характер комнаты в сравнении с тем, что приходилось видеть до тех пор в других домах и у себя: ни тени мнимой, маргариново-фольговой роскоши, ни пошлых покупных олеографий в бронзированных рамках, ни искусственных цветов, ни шелковой обивки мебели, нарядной с виду, но пригодной только для «присаживания», а не для отдыха и для уюта... Необычным фризом, непосредственно под потолком, тянулись редкие гравюры исторического содержания, пианино, стол с журналами и книгами, а у окон, отчасти прикрывая их — зеленая стена растений, без участия пошляцких фикусов, этих назойливых глашатаев мещанского благополучия...

Впервые мне пришлось столкнуться с бытом небогатого, но подлинно культурного уклада жизни, с домом, где любили книгу, а не только кухню и запросы умственной культуры не тонули в нудных хлопотах о повседневном заработке, а досуг не отдавался посещению лишь цирка, или картам...

Вряд ли нужно говорить, что все эти сравнения в ту пору не могли осознаваться мною и скорее чувствовались безотчетно, как влечение к детству, более спокойному, чем то, которое мне выпало на долю и в котором, вопреки любовным попечениям матери, эти последние невольно растворялись в хлопотах, тревогах и заботах трудового дня..

Но столь же очевидно, что в ту пору я не смог бы оценить, или использовать этот открывшийся мне новый строй домашнего уклада и что первые два года моего знакомства с новыми товарищами протекали в играх и занятиях, обычных для подростков-мальчиков. И лишь один пустяшный эпизод мне вспоминается из того времени.

Случилось это на втором году знакомства моего со Шперлингами, ранней осенью в одно из Воскресений, или праздников, поскольку в дни учебные хождение в гости не практиковалось.

Помнится, как после беготни по небольшому дворику нас пригласили в дом и к чайному столу.

Войдя в столовую-гостиную, я, помнится, весь как-то внутренне оторопел, увидев за столом сестру моих товарищей, хрупкую девочку, лет десяти, уже сидевшую за чаем и которая дотоле проходила мимо моего внимания.



Потому ли, что я недостаточно набегался, или, желая скрыть смущение, но на предложение сесть рядом с девочкой, я неожиданно для самого себя, прибежал к методу общеизвестного героя Гоголя (мне о ту пору неизвестного..): я выскочил на улицу через открытое окно, бывшее немногим выше уличной панели, и стремительно помчался вдоль по улице.

Со смехом бросившимся вслед за мной обоим братьям удалось меня поймать лишь у конца Никитской, чтобы с торжеством, схвативши за руки, обратно водворить через окно и усадить за стол, уже опустевший к тому времени...

Пустьшная ребяческая шалость эта заставляла много позже вспоминать частенько о себе...

Дальнейшему сближению с новыми знакомыми содействовало еще одно: именно, вынужденное оставление на второй год в IV-ом классе младшего Шперлинга и меня. Сказалась спешность подготовки моей по латыни при переводе в Гимназию, — одоление годового курса в срок немногих месяцев. Еще фатальнее сказались беспримерная моя тупость в математике. Как бы то ни было, пришлось признать себя на положении «второгодника». Сходная участь и судьба постигла младшего Шперлинга, Николая.

Было лишь естественно для нас устроиться за той же партией вплоть до окончания Гимназии.

И, вспоминая это наше пятилетнее сидение за той же партией, я доселе убежден, что по способностям я уступал бесспорно моему соседу и особенно по математике, не говоря уже о замечательных его художественных дарованиях, позднее обеспечивших за Николаем Шперлингом признание большого самобытного таланта.

И единственное, чем я мог успешно компенсировать его нередкое содействие при выполнении классных письменных работ — это по иностранным языкам, особенно немецкому, так и не давшемуся Николаю вплоть до окончания гимназии, словно в насмешку над его фамилией.

В итоге обучения в разных классах, моя связь со старшим Шперлингом ослабла а последний в свою очередь теснее сблизился с другим товарищем из еще более талантливой семьи, речь о которой впереди.

Примерно около того же времени усилилось мое влечение к занятиям по набивке чучел, получившее к концу 1896 года и официальное признание присуждением мне Русским **Обществом Акклиматизации** «Малой Серебряной Медали».

К этому же времени относится мое знакомство с препаратором-натуралистом Ф.К. **Лоренцем** и приобретение первых образцов его непревзойденного искусства.

Увлеченный этой препараторской и собирательской работой, отдавая ей все праздничные дни, я приослабил свою связь со Шперлингами.

Новая, очередная «провиденциальная» случайность позаботилась о том, чтобы на десять лет железными цепями привязать меня к этой семье и на всю жизнь оправдать мое знакомство с ней.

---

То было летом 1897 года. Пошатнувшееся здоровье моей матери побудило ее поехать для лечения на рижское взморье. Вместе с ней отправился и я, влекомый не купаньем в море, а надеждой на обогащение моей коллекции за счет морских пернатых.

Справедливость требует сказать, что надежда эта оправдалась только в минимальной степени.

Ни монотонно плещущее море, ни соленый воздух, ни ходьба по утомительным сыпучим дюнам, ни лишённые желанной тени жалкие и жиденькие сосны не способны были ни занять, ни еще менее зачаровать меня.

Также ничтожны были и мои музейные трофеи. Несколько десятков мелких птичек, добытых при помощи мелкокалиберного ружья, так называемого «Монте-Кристо» не могли сравниться с тем, что доставляла мне в Москве «Охотный Ряд» и «Трубный птичий рынок».

С вожделением мечтая о Москве, я накануне выезда из Риги получил письмо от Шперлингов, их приглашение погостить у них в одной усадьбе, где семья их проводила это лето.

И поскольку самое именье это находилось под Смоленском, т.е. на пути в Москву, легко было условиться о дне и часе встречи на ближайшей станции и высылке за мною лошади.

Доселе помнится отъезд из Риги в пасмурный, дождливый день, и тем контрастнее и ярче отделившийся дни, следовавшие за этим.

Утомительная ночь в вагоне, полное волнения приближение к вожделенной станции. Вот и она: станция «Вонлярово». Остановка поезда, прощание с мамой, моя высадка. Знакомые фигуры братьев на перроне. Предварительно зайдя по очереди в поезд, чтобы поздороваться с моей оставшейся в вагоне матерью, дождавшись скорого отхода поезда, оба они направились со мной к стоявшему поодаль тарантасу. Полчаса езды и мы у цели.

Осененный липами уютный флигелек с обширной низенькой верандой и приветливыми окнами.. Вот и сама хозяйка дома с той открытой, неподдельной простотой общения, которая дается только подлинной культурой.

И поскольку время было к вечеру, пришлось после внушительного ужина подумать и о сне. Низкая комната с тремя кроватями и маленькими окнами, открытыми, доверчиво смотрящими в просторный луг со внятно доносившим от него запахом сена и перекликиванием перепелов.

Усталый от дороги, я немедленно уснул, но по рассказам братьев много, оживленно говорил во сне.

Но вот и утро. Ясное августовское, та пора, когда прозрачность воздуха и тишина, приветливость природы словно изживается предельно перед наступлением осенней мглы и непогоды.

Помню, как устроившись поодаль на веранде, занятый просмотром привезенных мною инструментов, предназначенных на случай препаровки птиц, я, приподнявши голову, увидел поднимающуюся по ступенькам лестницы веранды девочку-подростка, лет двенадцати.

Одетая в русское платье, сарафан, с прошивками и лентами, она мне показалась до того красивой, что, оторопев, я привскочил и поклонился ниже и почтительнее, чем когда-либо при встрече с гимназическим директором.

Едва кивнув головкой, девочка прошла во внутрь дома, оставляя во мне смешанное чувство восхищения и страха.

Это был решающий момент всей моей жизни, поворотный пункт ее. «Грядущее отбросило перед собою тень!». Но оценить, понять значительность той встречи суждено мне было только по прошествии десятилетия, точнее, только на закате моей жизни.

Но вернемся к прошлому. Когда я вспоминаю ныне, в старости, о тех «смоленских днях» они доселе мне рисуются сквозь наслонившиеся позже горькие переживания чем-то волшебным-феерическим.

Знакомый только с подмосковными ландшафтами, да подмалеванной, прилизанной Прибалтикой, я в первый раз увидел нашу средне-русскую природу в ее подлинном очаровании.

В ближайшей же окрестности усадьбы — мощная стена лесов с чудесными полянами, перемежаясь с недоступными людской ноге запущенными пустолями... Яркие сизоворонки, далеко сверкая бирюзовым оперением сновали по поляне, тут же на окраине леса — пестрые кедровки, золотые иволги, лазурно-аксельбантовые сойки, а из груд валежника, при приближении к нему, вздымались мощные луны с их пестрым, или светлым оперением.

Как зачарованный смотрел я на так неожиданно раскрывшийся мне мир стихийной жизни подлинной природы, забывая о ружье и о своем музее.

А на фоне этой зелени лесов и голубого неба, золота, лазури и смарагда птиц мне чудился все тот же образ маленькой чудесной девочки в ее прелестном одеянии, с горделивой поступью и гордым взглядом.

Всем нутром, всем существом своим я понял, что настал конец моей свободе, что она потеряна и что я больше не принадлежу себе.

И с каждым днем и часом это состояние нарастало и к сознанию безответственной ему отдачи присоединялось чувство радости от этого чарующего плена.

Помнится, за всю неделю пребывания в усадьбе я ни словом, ни единой репликой не обменялся с девочкой, лишь издали любясь ею за столом, или, когда, после обеда, выходила она на крыльцо, чтобы кормить остатками его своих любимцев, двух громадных псов.

Но наступил и день отъезда. Провожать Надежду Михайловну и сыновей ее (дочь, лишь готовившаяся к поступлению в гимназию, еще могла остаться со своей учительницей в деревне..) выехала целая гурьба прелестных девушек, семейства Лярских, родовитых жительниц соседнего имения и, по-видимому, родственников Бугайских.

Одиноким и затерянным в их молодой толпе, сконфуженно стоял я, прижимая к себе ящичек с тремя набитыми во время пребывания в усадьбе чучелами птиц. Не слыша даже выражения признания моему искусству («Как хорошо выделывает Саша чучелки!»), я весь был в ожидании одной лишь радости — проститься за руку с моим кумиром.

Помню, как, войдя в вагон, я понял, что в Москву я возвращаюсь уж не тем, каким я покидал ее два месяца тому назад, что возвращаюсь я обогащенным чем-то новым, полным неизбежного значения.

И, как в Толстовской повести «Казачи» в размышления ее героя, подъезжавшего к Кавказу, неотступно и настойчиво врывалась поразившая его громада гор («а горы!»), так и в моей жизни не было отныне дня и часа, мысли и поступка, за которыми не грезился тот юный, обаятельный и властный образ.

Обстоятельства содействовали моему пленению.

Назначенный к нам новый гимназический инспектор и преподаватель самого ответственного предмета, именно латыни, ознаменовал свой первый нам урок целым «тайфуном» единиц и двоек. Неожиданно коснулся он и нашей парты, Николая и меня.

За невозможностью повторно оставаться в том же классе, и при том, в шестом, самом ответственном и трудном, было решено нанять студента-репетитора для нас двоих и самые занятия устраивать у Шперлингов.

Едва ли нужно говорить, как горячо приветствовал я получение двойки по латыни, давшей мне формальный повод к ежедневным посещениям дома, ставшего мне столь дорогим и близким.

Помнится громадный барский особняк, с обычным мезонином, местом наших ежедневных встреч с учителем-студентом-медиком II-го курса, Е.В. Клумовым.

Курчавый, смуглый, с умным, выразительным лицом он был артист в преподавании латыни, приобщая нас не только к знанию латинских оборотов речи, но и к пониманию красот Вергилия и Цицерона.

Несколько страдавший заиканием, привнося с собой в своей студенческой тужурке неизменный терпкий аромат анатомического Института, молодой наш репетитор в срок немногих месяцев настолько нас продвинул в дело римской речи, что ее «харибды» стали для нас беспредметны.

И, однако, все же не Вергилием определялся ореол поэзии, которым был овеян для меня дом на Арбате, ныне более не существующий. И, сидя в мезонине, занимаясь звучными гекзаметрами, я незримо, мысленно переносился вниз, стараясь уловить знакомый юный голос.

Скромное событие придвинуло более близкое знакомство с моим маленьким кумиром.

Занимая половину целого особняка, хозяева его решили дать семейный вечер с танцами для молодежи. Никогда не танцевав, я тем охотнее мог предложить свои услуги в качестве тапера: не владея даже отдаленно музыкальным дарованием, даже приличным слухом, я сумел усвоить с отроческих лет игру на фортепиано, в частности и в выполнении главнейших танцев.

Уповая более на силу и неутомимость рук, чем на искусство выполнения, пришел я с кипой нот задолго до назначенного часа, чтобы севши за пианино, быть готовым «барабанить» до утра.

Работая автоматически и частью наизусть, я мог, не обращая ничего внимания, следить глазами за движениями любимой девочки: в нарядном белом платьице с распущенными полудетски волосами, скромная, изящная, она была очаровательна.

И не было предела моему смущению, когда по окончании танцев, к концу вечера я получил букет цветов от имени девиц в признание моей игры.

Вместе с цветами я унес с этого вечера маняще-дерзостную мысль, что и мне дано будет коснуться в танце стана моей маленькой царевны, что рука ее коснется моего плеча...

Учиться танцам!.. И, конечно, ни один бреттер и дуэлянт не привносил столько усердия в практикование стрельбой и шпагой перед поединком, как старался я при овладении тонкостями танцевального искусства.

Но едва ли нужно говорить, как далеко не сразу я решился дебютировать.. К тому же приближалось лето и пора экзаменов, а после них и летние каникулы, с переселением на дачу.

Сам я лето это проводил со своей матерью в Останкине, хранившем о ту пору некое подобие природы, и усердно занимался коллектированием птиц, удачно заручившись разрешением охоты у тогдашнего бывшего управляющего графа Шереметьева.

Отдавшись временно всецело своему Музею, я к исходу лета получил письмо от Шперлингов с их приглашением приехать погостить в окрестностях Звенигорода, в непосредственной близости от древнего Саввинского монастыря.

Уютный домик у опушки старого запущенного сада, прямо против церкви, в окружении кустов акаций и сирени; тут же возле дома спуск к Москве-реке, охваченный песчаными обрывами, обильно инкрустированными ископаемыми раковинами и сланцовым блеском.

И, однако, вся эта чудесная природа и седая старина воспринимались мною только как оправда дорогого образа.

Гладко и скромно причесанная с волосами от висок спускавшимися книзу, обрамляя щеки, Мария Викторовна все же оставалась девочкой-подростком, как и жившая по близости ее подруга, Соня Перекрестова, смуглая девочка, дочь командира гренадерского перновского полка, квартировавшего по близости.

И оживляя в памяти эти дни в Звенигороде, мне доселе всего памятнее вечера, когда по наступлении сумерек, мы собирались возле церкви для подвижных игр, всего чаще в «палочку-ручалочку».

Доселе ясно оживают в памяти и полная луна над августовским ясным небом, и облитый ее мягким светом храм, и купы лип, сирени и акаций, тихие шаги и шелест платья над кустом, в тени которого сидишь запрятавшись и милый голос, несколько грустнее, звучащий надо мной, так робко-вопросительно: «Вы здесь Vicomte?» — наивно- шуточное прозвище, данное девочками мне за мою робость и почтительное отношение к ним...

И, сравнивая это лето с предыдущим я не мог не сознавать себя продвинутым в моем безмерном счастье.

Как волшебный сон, прошла «звенигородская» неделя. Но и возвращение в Москву, и, в частности, не малый переход от «Саввина» до Станции «Голицино», для следования поездом в Москву, прошел легко и незаметно, будучи сопровождаемым все тем же образом любимой девочки.

Но вот возобновление московской жизни, поделенной между школой, собиранием коллекций для Музея и незримым изживанием большого чувства.

К разбираемому времени оставлен был арбатский особняк с заменой его более скромным домом на углу двух переулков: Сивцев-Вражка и Никольского. Доселе сохранившийся, хотя и сильно постаревший за полвека домик этот, двухэтажный, оттененный деревом, кивающим из-за двора на тротуар, явился в роли знаменательного полустанка моей жизни. Но об этом — несколько позднее.

Помню первый «бал» у Перекрестовых: тесная зала, переполненная молодежью, большей частью юнкерами и кадетами, как полагается гостям полковника.

Цветник девчуток и среди них Мария Викторовна в своем белом платье с детски-доверчиво распущенными волосами, перехваченными белым бантом.

Из всего, что мне оставил в памяти тот вечер, сохранился у меня только зовущий взгляд, которым мы обменивались каждый раз, когда в кадрили и мазурке дама выбирала кавалеров, да рассказ моей миниатюрной дамы о воробышке с поломанною ножкой, ею поднятом на улице и принесенным в дом.

Охотно вызвавшись прийти на следующий день для оказания медицинской помощи «однофамильцу» («Шперлингу»), я в следующий день попробовал поломанную ножку птички положить «в лубок», ни мало не смутившись, впрочем, когда в следующий мой приход мне сообщили о немедленной же смерти воробья после оказанной ему «скорой помощи».

Важнее, чем все эти мелкие, ребяческие эпизоды, оказалась воспитательная роль семейства Шперлингов. Но, прежде чем коснуться этого момента в моей скромной биографии, — несколько слов о двух других семействах, мною встреченных на жизненном пути.

В те же примерно годы, о которых говорилось выше, проживала в глубине двора, по бывшему Смоленскому бульвару, в небольшой квартирке скромная семья одной из образованнейших женщин того времени, — Варвары Петровны **Кабылинской**.

Дочь состоятельных родителей, идейная, передовая типа подданных «шестидесятниц» она в бытность слушательницей «Лубянских Женских Курсов», увлеченная талантом видного преподавателя и пушкиниста Льва Ивановича **Поливанова**, становится его женой и другом.

Проживая после смерти **Поливанова** на личный заработок от уроков, при поддержке брата, видного чиновника, она успешно вырастила пять детей, незаурядных по природным дарованиям.

Вижу, как сейчас, ее уж пожилой, лет около пятидесяти, стройной, худощавой с тонкими чертами, ясно говорившими о прежней красоте. Живая, энергичная, с чудесным выразительным «московским» русским говором (помимо иностранных), подлинная демократка, обаятельная в обращении, она прошла каким-то абсолютно светлым образом в моей тогдашней жизни, подлинно согретой ее лаской и любовью.

Наделенная литературным дарованием и вообще гуманитарным направлением ума и интересов, она все же с искренней симпатией (— мне льстившей —) относилась к моей преданности зоологии, и это вопреки тому, что в области литературы и театра я был подлинным невеждой.

В этом доме, находившемся всецело под влиянием этой богато одаренной женщины, мне удалось позднее провести ряд лет и ей обязан я в широкой мере тем, что уберегся от сухого, узкого и однобокого натурализма.

Не могли не поспособствовать тому и мои тесные приятельские отношения с ее детьми, из коих двое старших братьев были к тому времени уже студентами, а двое младших, Федор и Сергей, учились там же, где и я, первый классом выше, младший — одноклассником со мной и Николаем Шперлингом. Единственная дочь, Татьяна, скоро вышла замуж за известного в то время педагога и искусствоведа.

В несколько ином аспекте сблизился я в разбираемую пору с жившей в том же доме, на Смоленском некогда бульваре, состоятельной семьей богатой дамы К.П. Христофоровой, семьей такой же ненормальной и разбитой, как обе упомянутые выше.

Разошедшаяся с мужем, богатейшим самодуром и владельцем колоссального имения на юге, Христофорова и трое сыновей ее (из коих старший, офицер Илья, прославился позднее при осаде Порт-Артура, тем, что прорвался на китайской джонке к штабу **Куропаткина**, а младший Вася — музыкальным дарованием..) — проживали в комфортабельной квартире с некоторой претензией на стиль «салона». На ее воскресных вечерах возможно было несколько позднее видеть и профессоров, ученых ранга **Стороженко**, и писателей из молодых стилия Андрея **Белого** или Сергея **Соловьева**.

Такова была среда, к которой мне дано было позднее прикоснуться и которой, повторяю, я в широкой степени обязан тем, что избежал чрезмерной узости и цехового понимания своей науки.

И, однако, это благодетельное для меня общение с этими домами выразилось лишь позднее. И в описываемую пору, кроме дома своего, имелось у меня лишь два манящих центра жизни: дружба с препаратом

ром-натуралистом **Лоренцем** на Поварской, и скромный домик в тихом захолустном переулке, близ Арбата.

С двойственным и сложным чувством вспоминаю я то время: в такой мере чувству возрастающего счастья от общения с тем домом, с той семьей, сопутствовало чувство безотчетной грусти.

И не только грусти, столь обычной для большого чувства: слишком явно сознавалось мною превосходство умственной культуры дома и семьи над той, в которой вырос я. Воспитанный в семье с укладом жизни, занятой всецело лишь заботами о каждом дне, чуждой культуры книги, прочитавший за всю жизнь только несколько французских и немецких книжек, да десятка два Жюль-Вернов и Майн-Ридов, не имея представления о русских классиках, за вычетом пародии на прохождение **Пушкина** и **Гоголя** в Гимназии, общаясь только с миром птиц, путем охоты и набивки чучел, не владея сколько-нибудь разговорной речью, — я терялся в обществе, осознавая безнадежную свою отсталость и «неполноценность».

И легко понять, как жадно я принял к этой дотоле скрытой для меня культуре мысли, воплощенной в образе любимой девушки. Не по годам начитанная, с тонким, пронизательным умом, ей суждено было спасти меня от узкой, цеховой науки, приобщить к красотам слова и художественной речи.

Помнится, как раз застав ее за чтением **Полонского** и **Надсона**, я, не имевший до того понятия о них, робким, молящим тоном попросил дать мне их книги..

Но то были только первые разбеги к моему литературному образованию. И несравненно чаще я, усевшись молча в уголке уютной небольшой гостиной, слушая чтение ее матери, читавшей мастерски, то русских авторов, то иностранных в переводе, так особенно мне памятного **Гауптмана**, его известный «Потонувший Колокол».

И было лишь естественно, что свою робость в разговоре, и особенно с любимой девочкой, я всего чаще заменял в ту пору языком, мне более доступным и испытанным в подобных случаях.

Учившись с детских лет игре на фортепиано (лишь по настоянию матери и без малейшего влечения со стороны моей..), не обладая сколько-нибудь выраженным музыкальным слухом, только механически усвоив основную технику, я все же смог к указанному времени использовать ее настолько, чтобы выполнять серьезные, классические вещи, до Бетховена включительно.

Не знаю, в какой степени рыдающие, скорбные напевы «Патетической Сонаты» доходили при моей игре до цели, но усиленно изживаясь в царстве звуков я влагал в них то, в чем отказывало мне мое застенчивое слово.

Но кончалась, умолкала музыка и затаенные в нее признания, и я опять в углу гостиной, снова молча и почти молитвенно слежу за милым образом.

И вспоминая эти годы моего «пленения», я не сумел бы ближе передать ее манящую суровость, как сравнив ее с судьбой былых когда-то «минензенгеров»: то же восторженное обожание и готовность безответного «служения».

И, как тем легендарным романтичным рыцарям вменялось некогда в обязанность служить велениям «дамы сердца», так любое пожелание, сорвавшееся с милых уст, тотчас же находило преданного исполнителя.

Потребовалось ли миниатюрное весло, аксессуар костюма «неаполитанки» для участия в детском маскараде, — я сидел у плотника, вычерчивая нужную модель.

Дошло ли до меня желание — иметь сибирского кота.. и превосходный экземпляр этого зверя уже мчался на извозчике по назначению...

Понадобились ли для демонстрации в женской Гимназии Арсеньевой, при прохождении Зоологии, живые тараканы, и путем обходов булочных (ценой не малых нареканий их хозяев на мою бестактность..) я до срока доставлял желаемое в банке, перевязанной изящной лентой, позавидовать которой мог бы и любой букет...

Достаточно мне было услышать случайно о намерении Марии Викторовны обучиться выполнению наших русских национальных танцев, — я заранее готовя себя в качестве «партнера», уже брал уроки русской «пляски».

Более того. Как в песнях «минензенгеров», герои-рыцари пускались в дальние походы, чтобы ратным подвигом завоевать любимую, — так, собираясь раннею весной 1899-го года ехать в степи Юго-Западной Сибири для исследования ее фауны, я в тайне надеялся этим «походом», не совсем обычным для моих тогдашних лет, проверить степень благосклонности ко мне и моей «дамы».

Помнится последний вечер, накануне моего отъезда.

Не в обычной серой гимназической одежде, а в полупоходной, я не устоял перед соблазном несколько порисоваться. И, показывая документы, выданные **Обществом Акклиматизации и Испытателей Природы**, подтверждающие цель моих «командировок», я не чувствовал своей «неполноценности».

С особым чувством, помнится, сыграл я в этот вечер на рояле Les Adieux («Прощанье»), мою любимейшую пьесу, до сих оставшуюся вместе с изумительным Andante «Патетической» Бетховенской Сонаты отголоском моего былого, некогда обширного репертуара.

Провожаемый всеобщим пожеланием успеха в моей первой и ответственной поездке, начал я прощаться, в частности и со своим кумиром, сдержанно-приветливо мне протянувшим руку. Не решаясь мысленно даже приникнуть к ней, я, подавив волнение, вышел на крыльцо.

Стояла темная, сырая мартовская ночь. На долгие полгода приходилось расставаться с этим домом и, прощаясь дружески-интимно еще раз со старшим братом, вышедшим наружу провожать меня, я мысленно прощался и с его сестрой.

Рассказывать о самом путешествии моем — не входит в тему предлагаемых страниц. Научные итоги моих сборов были много позже обнародованы в издании **Общества Испытателей Природы**, абрис личных впечатлений от озер, степей и перелесков Юго-Зап. Сибири — помещен в обширном моем очерке истории Дарвиновского Музея.

Но созерцая дивные картины грандиозного весеннего пролета птиц над Иртышем, сверкание далей акмолинской степи, или волны камыша над морем Барабы, я, отдаваясь этим величавым, новым для меня картинам изумительной природы, неизменно чувствовал себя сопровождаемым все тем же дорогим мне образом.

Едва ли нужно говорить, что этот «спутник» только стимулировал мою работу, не совсем плохую для подрастающего мальчика и ряд находок («Пестрого Дрозда» и местного «Подорлика») мог бы достойно расцветить трофеи даже опытного орнитолога.

К немалому прискорбию определения собранных пернатых не было доведено до общепринятых сейчас «тройных», тринарных наименований.

А с каким восторгом окрестил бы я мною найденного более крупного Подорлика в честь моего кумира:

*Aquila clanga* Subs. nova Mariae.

Пусть носители этого имени не слишком поэтичны, пусть это не чайка и не горлица. Но окрестили же когда то одного скворца именем «Софии» (*Sturnus Sophiae*) а незадачливый один профессор не поколебался найденных им новых паразитов (глист) увековечить именами своих теток и кузин!

Но, какова бы ни была сравнительная ценность мною добытых трофеев, а тем самым объективная оправданность моей поездки, перед субъективной ее значимостью для меня бледнели все дрозды или подорлики.

Начать с того, что не взирая на мои далекие разъезды, все же удавалось получать иррегулярно письма из Москвы, и в том числе от младшего из Кабылинских, проводившего то лето под Москвой, в Подольске, репетитором у Христофоровых.

Одно из этих писем, в свое время посланное и полученное мною в захолустной деревеньке Барабы, явилось для меня ценнее всех трофеев, вывезенных из Сибири.

Как-то вечером, по возвращении в Омск и накануне выезда в Москву, при перечитывании этого письма, мой взгляд упал на пару строк, дотоле не замеченных.

Тонким, изящным полудетским почерком стояли, в качестве приписки, следующие слова:

— «Скоро ли Вы вернетесь, *Visonte*? Я о вас соскучилась. Вернитесь только таким же хорошим, каким уехали. Впрочем, я в этом и не сомневаюсь!» Маруся.

Слезы брызнули из моих глаз.. Словно в тумане, зачарованный глядел я на теперь только замеченные строки. Не решаясь верить в их реальность, вновь и вновь их перечитывая, я охвачен был таким громадным счастьем, что, казалось мне, оно не умещалось в низкой, тесной комнатке...

Схватив письмо, я бросился из дома, выбежал на прилегающее поле, к протекающему неподалеку Иртышу, и, сев на берегу его, отдался радостным рыданиям...

Как в старом, некогда излюбленном романсе, представлением о любимой озаряется цветами, красками бесцветная, унылая дотоле степь, — так действием чудесной пары строк волшебного-сказочно преобразился для меня весь мир: прекрасными почудились и глинистые берега реки, и голая немая степь и хриплый хохот чаек .....

Столь же радостным казался шестидневный переезд в Москву, так совершенно подтвердивший для меня старую истину, что лучшее во всяком путешествии — есть возвращение.

Едва оправившись от долгого пути, я в тот же день направился к заветному мне дому, центру моей жизни, с замиранием сердца думая о предстоящей встрече, с Марией Викторовной.

И случилось так, что я застал ее одну.

— «Я должен вас благодарить» — сказал я — «за приписку вашу на одном письме!»

— «И что же вы подумали?» последовал холодный, сдержанный вопрос.

— «Я понял так, что вы послали мне привет в моем тогдашнем одиночестве..»

— «Вася и Петя (братья Христофоровы) меня очень упрекали за мою приписку!» с тоном чуть не сожаления послышался ответ, так и оставивший меня в недоумении, насколько самая приписка эта не была... опиской.

Но едва ли нужно говорить, с какою новой силой вспыхнула моя любовь к этой загадочной, мне непонятной девочке.

Опять и снова потянулись двойственные встречи: то приветные и ласковые, то сугубо сдержанные.

Первые — всего обычнее на вечерах, довольно регулярно проводимых в доме Христофоровой и реже, на балах в Зале Романовых (на Бронной) и в огромном «шефском Доме», близ Хамовнических казарм, в семье полковника, позднее генерала **Перекрестова**, а с осени того же года у полковника **Каменского**, дочери которого учились вместе с Марией Викторовной и Соней Перекрестовой в Арсеньевской Гимназии.

Эта семья **Каменских** мне позднее несколько напоминала «**Трех сестер**», этой чудесной драмы **Чехова**: тот же уют большого дома видного военного, тот же культурный быт и три сестры: старшая **Маня**, средняя — **Наталья**, младшая — **Нина**.

И, хотя впоследствии судьба сестер **Каменских** оказалась более трагической, чем чеховских, но в разбираемую пору дом их привлекал довольством и высокой, подлинной культурой, — интересами к литературе и искусству. Объяснялось это не одной лишь образованностью родителей, в особенности матери, Веры Никифоровны (урожденной **Василенко**, сестры известного композитора), но и особой близостью ко всей семье Варвары Петровны Кобылинской.

По ее ближайшей инициативе зародилась мысль об организации литературных вечеров, довольно регулярно проводившихся затем в течение ряда лет. Читались классики, комедии и драмы Грибоедова и Пушкина, Мольера и Шекспира.

В главных, или более ответственных ролях обыкновенно выступали среди мальчиков Сережа Кобылинский (будущий филолог), Соловьев, Сережа (даровитейший племянник знаменитого философа) Владимир **Поливанов** — даровитый будущий писатель. Среди девочек помимо старших двух Каменских, всего чаще выступала дочь бывшего друга **Соловьева**, доктора **А. Петровского**, — Наташа.



Сам я, хорошо читавший с детских лет, довольствовался все же скромными ролями (графа Глостера в «Короле Лире» и «Алцестом» в Мизантропе) и однажды только отличился чтением «Истории Карла Ивановича» (из «Детства и Отрочества» **Толстого**), каковой успех отчасти обусловлен был отличным знанием немецкого, тогда же оцененного присутствовавшим на вечере профессором **Покровским**.

Но с тем большим треском провалился я при чтении партии Молчалина в «Горе от Ума». Открыто волочиться за субреткой-горничной в присутствии Марии Викторовны казалось мне кощунственным и прочитал я свою роль формально, вяло и растерянно.

Легко понять мое отчаяние, когда присутствовавший при чтении художник Николай Авенирович **Мартынов** (у которого две старшие Каменские и младший Шперлиг, как и я брали уроки рисования) мне заявил во всеуслышание: «Ну, и какого же подлеца Вы изобразили!»

Помнится, как тяжело мне было после этого и как я проклинал мое невежество в родной литературе, давшую возможность навязать мне эту пасквильную роль.

Так быстро-незаметно промелькнула вся зима в чередовании вечеров с серьезной подготовкой к выпускным экзаменам. При неплохих моих познаниях по древним языкам, этот экзамен «зрелости» грозил только по двум предметам: русскому и математике, поскольку промахи по орфографии лишали права продолжать экзамены, а математика всегда могла мне уготовить неожиданный сюрприз. И это не смотря на то, что я усердно посещал в течение второго полугодия воскресные занятия, устроенные специально для математических тупиц.

Но вот настал и этот день: сдачи письменного испытания по алгебре. Громадный зал с отдельными столами со значительными интервалами для затруднения «летучей почты» и фаланга синефранных надзирателей для преграждения ее.

В сопровождении синклита педагогов появляется наш старичок директор с запечатанным конвертом, содержащим присланную из округа задачу. Безупречным почерком она рукой учителя наносится на черную, — увы! — вдвойне мне черную стенную доску. В ужасе, смятении я чувствую, что ничего не понимаю в ней: знакомые черты и буквы, корешки и скобки, но с чего начать и как эти гирлянды превратить в одну лишь цифру, бальную отметку «тройку», — механически привитая мне эрудиция мне ничего не говорила.

Так проходит час-другой, и, как в известном Чеховском рассказе о чиновнике, страдавшем от непонятого знака препинания — так меловая формула стенной доски зловеще мне шептала о тщете надежд моих на будущую профессию.

Уже стали подавать отдельные товарищи решенную задачу, а лежавшие передо мной листы бумаги все еще блистали девственной белизной...

Внезапно слышу голос над собой: — «Котс, почему вы ничего не делаете?»

Вижу: надо мной стоит гроза гимназии, инспектор, нам преподававший за последние года латынь, предмет, мне относительно легко дававшийся.

— «Не знаю, как начать! Сергей Александрович!» подавленно-смущенно отвечаю я.

— «Не знаете, как начинать!?» — не то сочувственно, не то с укором прозвучала реплика **Радецкого**.

Пройдя к соседнему ученику и пошептавшись с ним, он возвратился к моему столу и, молча указав на нужные места, помог мне в разрешении задачи.

Протекло полвека с лишним с того времени, но я доселе с теплым, благодарным чувством вспоминаю эту помощь, неожиданно так подоспевшую.

Но наступила, наконец, желанная пора: закрылись двери Средней Школы, распахнулись двери Университета, а тем самым и ворота в подлинную жизнь.

Помнится, в каком волшебном ореоле, чем то сказочно-манящим рисовался мне московский Университет еще до поступления в него, овеванный еще со школьных моих лет знакомыми мне именами Николая

**Северцева, Усова, Рулье** и личной моей связью с общепризнанным главой его зоологов, — профессором **Мензбиром**.

И, однако оставались целые три месяца до зачисления в студенты и на очереди стал вопрос о том, где провести мне летние каникулы.

Пришло решение со стороны, так же случайно-провиденциально, как и помощь латиниста на экзамене по Математике.

Среди кончавших вместе с нами был товарищ по фамилии Поливанов, сын обедневшего помещика, в ту пору доживавшую свою былую роль в старинном родовом имении, где то в отдаленном Дмитровском уезде.

Из беседы Поливанова со Шперлингами выяснилось, что в означенном имении имелся флигелек, сдаваемый на лето дачникам. В итоге следующих затем переговоров флигелек этот нанят был В.П. Кобылинской, согласившейся взять пансионерами двух мальчиков Христофоровых.

И было лишь естественно примкнуть и мне к этой компании, тем более, что в самом доме Поливановых имелась одна комната, сдаваемая на лето и семейство Кобылинских согласилась взять меня в «нахлебники».

Само поместье Поливановых «Надеждино» оказывалось на расстоянии четырех лишь километров от имения «Быково», родового поместья Ник. Мих. Бугайского, брата Надежды Михайловны Шперлинг. В результате — мальчики трех семей оказались поселившимися в непосредственной близости и в их сообществе мне было суждено прожить лето 1900 года перед поступлением в Московский Университет.

Опять, как три года тому назад, в Смоленске, привелось мне ознакомиться с едва затронутой людьми природой средней полосы России.

Помнится приезд на станцию Дмитров, где стояли уже заготовленные Бугайским лошади для переезда нашего в Быково.

Ехать приходилось добрые два часа и преимущественно лесом, не пересекая ни одной деревни. Только на подъеме, приблизительно на полдороге, возле церкви «Введение» виднелось некое подобие поселка. В остальном — высокий смешанный и хвойный лес охватывал с боков дорогу, вившуюся между вековыми соснами и елями.

А вот и самое поместье. Столь характерные для помещичьих усадеб каменные белые столбы-ворота перед въездом на широкий двор, охваченный со всех сторон служебными постройками и самый дом, большой, одноэтажный с небольшой верандой со двора, огромной сзади, обращенной к широко раскинутому саду с цветниками.

Постепенно понижаясь, сад заканчивался небольшой речонкой в обрамлении тальником и камышом, терявшейся затем в глуши сплошного леса, елей и берез.

А по ту сторону двора, тотчас же начинались огороды, еще далее засеянное рожью поле. Узкая тропинка змейкой пробегающая по межам, приводит к двум постройкам: небольшому дому с маленькой верандой а поодаль меньшему — служебному. Навеки помнится мне будет этот дом, — летняя резиденция семейства Шперлингов.

Но в тот же день мне предстояло перебраться в место моего жилья, в «Надеждино», в сопровождении обоих братьев Христофоровых.

Оставив за собой быковскую усадьбу и одноименную деревню, мы, пройдя открытыми полями километра три, приблизились к большому парку, в глубине которого, охваченная рядом небольших прудков и помещалась самая усадьба Поливановых.

Небольшая церковка, типа былой домово́й, жмется возле пары домиков и въезда в парк, просторная аллея, обрамленная высокими деревьями, приводит к дому, упираясь в лестницу крыльца. Дом — двухэтажный, старый и запущенный с видом типичного бывшего старого «дворянского гнезда».

Над входом в дом, над самыми ступенями крыльца, окно второго этажа, той самой комнаты, которую мне предстояло занимать. Запомнится мне это скромное окно навеки.

Справа от крыльца — песчаная дорожка. Миновав ротонду из сирени, мы подходим к старенькому флигельку с открытой, полуразвалившейся верандой: резиденция семейства Кобылинских.

Как всегда, приветливая встреча как хозяйки дома, так и ее мальчиками.

Таковы — природный фон и бытовая обстановка, в окружении которых суждено мне было провести это мне памятное лето. И когда сейчас, на предзакате моей жизни, я припоминаю скромные картины, или эпизоды того лета, они все сливаются в одно чудесное панно былого юного очарования.

И не смущает меня то, что в нижеследующих очерках отдельных сцен и эпизодов прозвучит порой нечто знакомое, словно заимствованное от **Чехова**, или **Тургенева**... Ведь и описываю я не фабрики и не заводы, а интимные переживания той самой русской жизни, что нашли такое несравненное отображение в творениях этих великих чародеев слова.

То я вижу себя около усадебного дома, огибающим его со стороны чудесного большого сада с купами жасмина. Скромное крылечко. Сидя на его ступеньках, девочка-подросток в сарафане, с волосами, гладко на пробор причесанными. С книгой на коленях углубилась она в чтение. Мой путь лежит мимо нее, но опасаясь появлением своим развеять милый образ, я невольно медлю... Вот едва заметный, сдержанный наклон головки на мой низкий и конфузливый поклон и, продолжая путь, я весь охвачен полнотой ликующего счастья...

Вот другая встреча. От затерянного в ивах маленького пруда я иду по узенькой тропинке к флигельку, что у опушки леса. И навстречу мне все та же девочка... Но я босой, идя с купанья.. В страхе за мое непозволительное «неглиже», я тороплюсь зайти в высокую траву, боясь лишь одного, — столь радостного в другое время приглашения пройтись немного вместе... По лукавой и доверчивой улыбке моей встречной ясно, что причина моего отхода в сторону разгадана.. Смеясь, расходимся и встреча эта словно лишь содействовала нашему сближению.

А вот другая сцена. В зале поливановского дома. Я показываю свой гербарий. Приступив впервые к собиранию растений, я нередко затруднялся при определении простейших видов. Помню, на одно мое недоумение последовало разъяснение из милых уст: «Майник Двулистый!».. Как то выяснилось, мой не слишком, впрочем сильный интерес к ботанике успел найти созвучный отклик и у Марии Викторовны.

Помнится особенно одна поездка, посещение Стеклянного Завода, в нескольких верстах от дачи Шперлингов. За нежеланием отрывать рабочего в отрадную пору, мне были доверены обязанности кучера. Ехали Надежда Михайловна, Мария Викторовна и ее француженка- гувернантка. За теснотой тарантаса, задние сидения были предоставлены обеим дамам, а для Марии Викторовны — место возле кучера, на козлах, но спиной ко мне. Легко понять мое двоякое смущение: никогда до этого не правив лошадью, я чувствовал себя вдвойне растерянным и лошадью, бежавшей спереди и обаятельной моей соседкой сзади.

Очень скоро, впрочем, я оправился, чему не мало помогла моя соседка, корректировавшая мое сидение на козлах и держание вожжей, поправки, не задевшие, однако, самолюбия возницы..

Помню, как по возвращении с поездки, я, усталый, лег в лесу близ домика и вскорости уснул. Не знаю долго ли я спал, но в сладостном испуге просыпаясь вижу близ себя Марию Викторовну... Это было сказочное пробуждение в роли Шекспировской «Титании», подлинный «Сон в летнюю ночь», вернее, — «Полу-день»! Но не в пример прелестной героини сказки, пробуждение мое не развенчало колдовства, а лишь усилило его..

— «Как вы устали!» прозвучал ответ на извинения мои и в первый раз в этих словах почудилась мне нотка теплого участия.

Обмениваясь изредка словами, шли мы по лесной тропинке, незаметно отходя от дома в направлении к одной лужайке.. И, чем дальше, тем все более росли во мне, рвались наружу затаенные напевы, чтобы замереть в безмолвии улыбки...

Еще ярче оживают в памяти другие сцены и другие образы. Большая зала поливановского дома. Вечер. Празднуются чьи-то именины. Небольшой литературный вечер. Снова и опять не без успеха выступаю я с «Карлом Ивановичем» Толстого. Декламация и пение уступают танцам. Как всегда, моя единственная дама — лишь одна, на этот раз в розовом бальном платье..

После танцев — праздничный, парадный ужин в небольшой сравнительно столовой, рядом с танцевальным залом.

По счастливой и на этот раз случайности неожиданно получилось так, что именно для нас двоих в столовой не хватило места. Приходилось поместиться в небольшом, уютном уголке гостиной и довольствоваться тем, что младший мальчик Христофоров, Вася, в роли пажа и официанта приносил нам от «господского» стола.

Едва ли нужно говорить, что приносимые нам яства всего меньше занимали нас.

Опять полуслова, полу-улыбки, недосказанные, ярче, убедительнее слов, но находились и они, восторженные, молодые..

Как волшебный сон, как греза промелькнул тот вечер и тот уголок приветный...

Но настал и час разъезда. Друг за другом стали подъезжать к подъезду экипажи, запряженные то тройками, то парой, увозя гостей от ярко освещенного крыльца в глубь, темноту июльской ночи.

Вот — последняя улыбка и погасла, обезлюдила песчаная площадка у подъезда. Медленно, как в полусне, не думая о сне, поднявшись в свою комнату, что над крыльцом, я стоя у окна, смотрел на длинную аллею, начинавшую уж вырисовываться в предрассветном сумраке занявшегося дня..

Не помню, сколько времени провел я у окна, следя, как в меру надвигания утра, все яснее выступали на песке следы колес, увезших мою «розовую фею». И, дождавшись полного восхода солнца, я почувствовал неодолимое желание убедиться, что вчерашний вечер был не грезой, и не сном. Поспешно выйдя из дома, я бросился кратчайшими тропами через лес, ведущий в направлении к «Быкову».

Сознавая невозможность личного свидания, я шел в надежде увидеть хоть издали любимый образ. Помню, как пройдя четыре километра лесом, выйдя из него, скрываясь на его опушке в зарослях еще осыпанных алмазами росы, глядел на отдаленный домик с низенькой верандой, с окнами, еще закрытыми, словно опущенными веками, глухими ставнями. Но вот, как будто просыпаясь домик раскрывает ставни.. вот еще немного и вчерашняя моя царица, розовая фея, в скромной светлой блузке, появилась на веранде.. Долго и не отрывая глаз смотрел я, не решаясь выдать своего присутствия, чтобы печально-радостно вернуться тем же лесом.

Наконец последняя, полурешающая встреча. Чуть поодаль домика, в тылу его, тенистый небольшой лесок заканчивался небольшим прозрачным прудом, за которым начиналось поле, окружавшее деревню. Три развесистые ивы, низко наклоняясь над водой, чуть не касались ее нижними ветвями. Пара срубленных стволов лежала тут же, приглашая к отдыху и любованию простором, открывавшимся с этого берега.

Не помню, что нас привело на это место, еще менее, о чем мы повели беседу. Говорили мы о дарвиновой книге, мною данной Марии Викторовне и о предстоящем возвращении в Москву, о моих планах в Университете и о том, что нам обоим дало лето, подходившее к концу.

И здесь в мило-кокетливой и тонкой, чуткой форме мне дано было понять, что не один я возвращусь в Москву, обогащенный не одним лишь знанием ботаники и Дарвина. Но то, что так изящно было призакрыто словом, досказали блеск в глазах и милая улыбка..

Ими завершился для меня один из самых поэтичных актов скромной моей жизни.

---

Двойственным и не совсем понятным было отношение ко мне Надежды Михайловны, матери Марии Викторовны.

Явно мне симпатизируя, пока я был только товарищем ее обоих мальчиков, она настороженно и скорее отрицательно смотрела на мое ухаживание за дочерью. И справедливость требует сказать, что форма этого последнего давала основания тому, не только за чрезмерной, обращавшей на себя внимание, настойчивости, но и за отдельных некорректностей меня и дочери.

Так вскоре после возвращения в Москву у нас явилась мысль переписываться, направляя мои письма в адрес третьего лица, одной подруги Марии Викторовны, одноклассницы Сони Шамариной.

Хотя по содержанию письма были таковы, что не нуждались в этой ширме, переписка эта очень скоро вскрытая, конечно, не могла расположить к себе ее участника.

Доселе помню слово в слово грозное письмо, полученное мною с выговором за означенную переписку с дочерью, а кстати и с укором в том, что «в обществе я постоянно около нее».

С трудом и более слезами, чем словами ликвидировал я этот инцидент но, разумеется, не смог исполнить этого второго ее требования.

Тем неожиданнее было предложение той же Надежды Михайловны в связи с задуманным костюмированным балом у Каменских, выступить обоим нам в виде двух главных действующих лиц поэмы Я. **Полонского**, «Кузнечик-музыкант».

С большим подъемом принялся я за изготовление для себя костюма, одеяния «кузнечика», внося в работу эмоциональный пафос и познания зоолога.

Соорудив при помощи картона и материи подобие головы кузнечика, снабдив ее стеклянными зелеными шарами — в виде глаз, искусственными челюстями и усами, я в изготовлении остальной одежды мог использовать умение и вкус жившей у нас в ту пору пожилой француженки. В итоге сочетание знания зоолога с французским вкусом и любовным пафосом предельно обеспечило успех и мой обшитый блестками зеленый бархатно-атласный фрак в виде спускавшихся двух пар зеленых крыльев, сочетал вполне искусство с реализмом.

Но не меньшее старание было вложено в наряд моей партнерши-«Бабочки»: в прелестном белом платье, сплошь усыпанном пронизанными серебристой канителью, бабочками, с «бархаткой на шейке, бантом на затылке», — Мария Викторовна казалась мне очаровательнее, чем когда-либо.

Тем огорчительнее было то, что вопреки всеобщим похвалам по адресу нарядов, самый вечер оказался для меня источником страданий, вызванных присутствием на нем одного мальчика, Миши Островского, в ту пору гимназиста в серой куртке, но впоследствии сыгравшего роль «Соловья» той же поэмы у **Полонского**.

Без всяких о ту пору оснований я жестоко ревновал к нему Марию Викторовну, лишь отчасти меня утешившую, подарив одну из серебристых канительных бабочек, сорвавшуюся с ее платья.

Тем не менее, в то время, я располагал благоволением не только дочери, но до известной степени и матери, доверившей мне несколько позднее роль помощника при переезде в другой дом по Денежному переулку.

Но сначала об одном пустяшном с виду эпизоде, но сыгравшем самую решающую роль в моей последующей жизни.

Связан он с переселением Христофоровых с их бывшего жилища на Новинском на Девичье Поле, в тихий переулок (бывший Трубецкой, позднее переименованный в «Холзунов»), по всей длине своей смотревший в уничтоженный позднее вековой, тенистый парк.

Как он, так и большие, незастроенные пустыри, тянувшиеся за домами, придавали улочке характер полудачный. И таким же чувствовался двухэтажный домик, в верхнем этаже которого и поселились Христофоровы. Обширная пустырь, поросшая травой с отдельными деревьями охватывала домик с тыла, небольшой уютный сад с беседкой.. вместе взятое все делало дом Христофоровых желанным местом посещения, особенно в предпраздничные дни, невольно создавая некую иллюзию поездки за город.

Приятность места повышалась исключительным радушием хозяйки дома, Клеопатры Петровны, давней и большой приятельницы Надежды Михайловны.

Эта полузагородность дома Христофоровой особенно ценна была весной и осенью, по выезде в деревню, или возвращении из нее, когда большее время можно было проводить на воздухе, в саду, или обширной примыкавшей к нему сзади пустыри, отчасти отгороженной от дома парой небольших построек, в остальном же поражающей тишиной и малолюдством.

В этом доме, или, говоря точнее, окружающем его просторе, регулярно собирались мы, обычно по субботам и под праздники.

Одно из этих посещений, ранним летом 1901 года, мне особо памятно.

Заставши, по обыкновению и Марию Викторовну, я упросил ее спуститься в Сад. Пройдя затем на травянистую поляну, что за садом, мы сначала примостились на старинных, ветхих, архаических качелях...

В этот вечер Мария Викторовна была как-то особо оживленной, наступательно кокетливой, то вспоминая эпизоды нашего знакомства в прошлом, то цитируя отдельные слова Некрасова и заставляя меня разгадать названия стихотворений.

Были мы одни и, стоя на качелях и попеременно то взлетая, то куда-то падая с моей веселой визави, то приближаясь к ней, то снова удаляясь от нее, я временами чувствовал себя вне времени и места.

— «А качели ведь не крепкие! Смотрите, как они шатаются у оснований! Как бы нам обоим не разбиться!» слышу я задорный голосок..

— «Так что ж, ты будешь там со мной!» хотелось мне сказать словами Лермонтовского героя...

Мы сошли с качелей и пошли по направлению к дому. Идя рядом, я почувствовал себя вдруг охваченным порывом властным и неодолимым и склонившись к милому лицу я еле слышно прошептал «Маруся!» трепетно поцеловав ее при этом в щеку..

— «Глупости!» слышалось уже почти вдали и в этот миг я понял, что случилось нечто навсегда непоправимое.

Как в детской сказке Андерсена этот миг был поворотным и решающим моментом моей жизни.

Помнится, как сам не свой, я бросился по направлению к дому, ища случай вымолить прощение. Словно под защитой матери и Христовой, Мария Викторовна сидела за столом, облокотившись и прикрыв глаза обеими руками.

Наконец, дождавшись ее выхода из дома, уловив момент, когда она была одна, я голосом, полным мольбы, шепнул: «Простите меня, или я сойду с ума!» — «Вот это уже не зачем!» слышался холодный и успокоительный ответ.

Словно нарочно, днем позднее Николай с сестрой должны были уехать из Москвы по приглашению отца на юг, имея целью прокатиться по Днепру и посетить ряд лиц, знакомых или родственных в Крыму. После отъезда их я получил письмо от Марии Викторовны, с вопросом, был ли мой поступок «наперед обдуман-ным, или случайным?» В последнем случае, — так говорилось — можно будет и его исправить в будущем.

Увы! — или по счастью — исправить его в будущем уже не удалось.

То было летом 1901 года. Кобылинские в то лето жили в небольшой усадьбе, видимо близ родового бывшего рязанского имения Варвары Петровны, пригласившей меня погостить у ней. Из сыновей ее был только Федор, студент-медик Петербургской Военной Медицинской Академии, жених Наталии Каменской и — как и она — трагически погибший уже будучи врачом.

Теплое, дружеское отношение ко мне этого умного, талантливого юноши и его матери не в силах были все же заглушить моей тоски по той, которой суждено было сыграть решающую роль в моей последующей жизни.

Возвратившись около середины лета в город, я нашел хороший повод заглушить свою тоску, приняв живейшее участие в не малых хлопотах по переезде Шперлинггов на новую квартиру в бывшем Денежном переулке.

Скромный деревянный двухэтажный дом, уже не новый, в глубине двора с подъездом по середине с четырьмя квартирами, из коих нижняя налево занята была семьей Островских, верхней справа суждено было стать новым местом моего паломничества долгие четыре года.

За отсутствием в Москве обоих мальчиков, помочь их матери в переселении приходилось мне по ее просьбе. И с какой же я любовью помогал я в этом деле, будь то при развешивании гравюр, при установке мебели и даже небольшой ее починке.

Но не думалось ни мне, ни ей, что самая квартира эта станет для нее преддверием смерти, для меня — могилой для моей любви.

Но наступает осень и по возвращении Николая и сестры его в Москву (старший, Сергей, учился в бывшем Петербурге в Инженерном Институте) — жизнь вошла в свою былую колею.

К этому времени было отстроено новое здание Сравнительно-Анатомического Института, в оборудовании которого, мне, как студенту-второкурснику, близко стоявшему к Дирекции, пришлось принять известное участие.

Но отдавая дань своей науке, я со жгучим нетерпением ждал двух дней в неделю, Среду и Субботу, регулярно мною посвящаемых по вечерам скромном квартире в Денежном переулке.

С трогательным чувством вспоминаю я эти Субботы, эти Среды.

Относились эти посещения мои в сущности к одной лишь Марии Викторовне.

Обыкновенно вечер проводился таким образом, что после чая, общего со всей семьей, мы уходили с Марией Викторовной в ее комнату.

Как помнится мне эта комната! Маленький столик письменный перед окном, два кресла, небольшой диван, зеленовато-розовым обшитый, ширма, отделявшая кровать, шкаф с книгами, фотогравюры на стене. Доселе помнится их содержание.

Вот — «Смерть Атиллы» по известной повести Шатобриана, рядом «Извержение Везувия» в отдалении и группа женщин в белых одеяниях на первом плане по картине Де Ла-Ру в Париже; — вот Христос в венце терновом, как видение раненному в поле воину, вот, наконец, мертвое тело юной девушки, прибитое волной прилива к берегу.. И в странном и дисгармоническом контрасте с этими гравюрами, на небольшом простенке близ окна — ряд фотоснимков с Лины Кавальери, модной о ту пору итальянской примадонны...

И, как разнородно было убранство тех стен, также капризно-переменчивы были характер, настроение хозяйки комнаты. То шаловливое кокетство, то цитаты из Владимира **Соловьева** или Шопенгауера. Как метко было сказано о ней:

«То Анатомия лежит перед тобой, то увлекаешься Полонского Весталкой!»

В этих стенах суждено мне было пережить самые светлые и самые тяжелые мгновения моей юности.

Припоминаются бесчисленные вечера и все — вплоть до последнего — за книгой. Именно тогда впервые для меня открылись до того неизвестные жемчужины наших родных поэтов: **Тютчева, Фета, А. Толстого, Соловьева и Полонского, Апухтина**. Читала Мария Викторовна мастерски, тонко и чутко модулируя, меняя тембр голоса и выражение лица.. Особенно мне памяты места и вещи, оказавшиеся символичными для нас обоих, каковы «Курьерский поезд», «Год в Монастыре» Апухтина, «Кузнечик-музыкант» Полонского, не говоря уже об изумительных стихах Владимира **Соловьева**.

К этому же времени относится один из вечеров, дававшихся Арсеньевской Гимназией. Придя в концертный зал, мы первую, вступительную часть, прослушали с Марией Викторовной, сидя по обе стороны от ее матери, сознательно нас разделившей территориально.

Но дождавшись перерыва, мы, уйдя из залы, так и не вернулись более в нее и, сидя, вдалеке вдвоем в одной из боковых продольных зал тогдашнего Дворянского Собрания, беседовали оживленно, изредка прислушиваясь к пению **Шаляпина**, едва лишь доносившегося к нам.

— «Вы узнаете?» прервала беседу Мария Викторовна, в своем розовом прелестном платье, мне знакомом с поливановского бала..

Молча стали мы прислушиваться к хорошо знакомому романсу и его конечной фразе, доносившейся как будто из неведомой дали:

«Не верь, дитя, не взорам, ни признаниям,  
Не верь, забудь! сожжет своим дыханием

Моя любовь твой розовый венок!»

Невольно оба мы затихли, пребывая несколько секунд в молчании, словно почувствовав тени грядущего, грозившего заволокнуть наше столь розовое настоящее.

В начавшихся по окончании концерта танцах (и — увы! — наперекор укорам матери Марии Викторовны, танцевал я только с ней одной..) забыты были эти грустные мгновения и возрастающая у меня на пальце боль от скверного накола при анатомировании обезьяны, проведенном мною незадолго перед выездом на бал.

Последовавшие затем недели протекли в борьбе с последствиями заражения трупным ядом, ликвидированного лишь с трудом ценой повторных операций, надрезания до кости пальца, до сих оставившего шрам, в воспоминание об обезьяне, о Шаляпине и о том вечере.

Не думалось тогда ни мне, ни Марии Викторовне, что грозившая мне судьба Базарова, впоследствии постигнет самое ее.

В этой моей беде особое участие я встретил у Варвары Петровны Кобылинской, настоявшей на немедленном же обращении к знакомому ей хирургу (С.Е. Берязовскому) и более формальное — со стороны Надежды Михайловны, посетившей меня с выражением соболезнования на квартире. С трогательным чувством вспоминаю я, как одноклассницы Марии Викторовны, разделяя беспокойство ее в отношении меня, соперничали в предложениях и советах в направлении моего лечения.

К означенному времени надзор за дочерью заметно приослаб у ее матери и мы в широкой мере были предоставлены себе. К тому же вечерами она стала регулярно уезжать и возвращаться лишь в одиннадцатом часу. Самая комната Марии Викторовны была поодаль от других жилых и создавалось впечатление, что мы одни в квартире.

Помнится навеки один вечер. Как обычно, я сидел возле стола и в полуоборот к окну. Мария Викторовна — против окна за столиком. Не помню, что она читала в этот вечер. Постепенно чтение заменилось разговором, в частности коснувшимся и моего призвания.

Всецело чуждая ему, Мария Викторовна склонялась более к профессии врача (позднее ею избранной), сказав, что на моем месте она выбрала бы именно последнюю.

Растроганный всем этим вечером и ласковым, звенящим голосом любимой девушки я протянул к ней руку и промолвил, сам едва ли сознавая всю огромность жертвы, мною предлагаемой: «Скажите одно слово.. и я сделаю по Вашему!»

Рука моя коснулась встречной.. маленькая, нежная рука. Взгляд на нее, другой в участливо склоненное лицо и.. снова на и опять на маленькую руку.. Еле слышно прошептал я: «Можно?» И на ласковый кивок губы мои молитвенно коснулись маленькой руки.

Минутой позже мы сидели в глубине дивана, рука в руке.. Она приветливо-спокойно, я — дрожа, как в пароксизме. Тщетно силился я подавить его: все мое тело трепетало, как у птицы, раненной и недобитой... «Успокойтесь, успокойтесь!» повторяла Мария Викторовна, глядя на меня участливым, почти что материнским взглядом.

Неожиданно раздавшийся звонок в передней положил конец этой тяжелой сцене, прекратить которую едва ли мы сумели бы тогда же должным образом.

Потребовалось полстолетия, чтобы я понял, что стояло за тем жутко-сладостным переживанием, за этим вечером: сигнал для поезда, ошибкой стрелочника и вожатого, пошедшего по ложному пути.

Действительно, к описанному времени жизненный поезд мой стихийно мчался по манящему, хотя и ложному пути. И окончательно он сбился несколькими днями позже.

При одном моем приходе неожиданно случилось так, что на звонок мой двери отворила сама Мария Викторовна, заявив, что во всем доме лишь она одна и дав понять, что мне удобнее уйти.

Но именно сознание, что мы совсем одни, толкнуло меня вдруг на то, чего я долгими годами не решался сделать.



Весь охваченный сложнейшим чувством страха и решимости, я, стоя перед ней, с мольбой сжавши руки, обратился с теми четырьмя словами, что несчетно раз произносились в жизни и в творениях великих чародеев слова: — «Любите ли Вы меня?»

Мгновение позже мы стояли рядом и я трепетными пальцами касался гладко, на пробор, причесанной головки, так пленявшей меня все четыре года, под Смоленском, под Звенигородом, Дмитровом..

— «Пора! Ступайте!» прошептал мне милый голос и через мгновение мы расстались.

А потом, а дальше, а позднее?

Возраставшее блаженство каждой встречи а на деле только «Сердца чуткого обман ежеминутный».

Неожиданное обстоятельство отсрочило обнаружение этого обмана.

Продолжавшиеся в том году (1902) студенческие волнения и нарушения жизни в Университете дали повод согласиться на мое участие в Саянской экспедиции тогдашнего доцента **Сушкина**, когда то, в бытность мою гимназистом, снаряжавшего меня в мою научную поездку по Сибири.

Намечалось выехать ранней весной до Красноярска, сообща подняться вверх по Енисею до Минусинска, чтобы затем начать исследования порознь, мне — по району Абакана, Сушкину — перевалив Саяны.

Помню дни, предшествовавшие моему отъезду и последний вечер, проведенный в дорогой мне комнатке. Как зачарованный сидел я, не спуская глаз от милого лица, столь близкого, и столь далекого. Столь близкого по моей нежной, трепетной любви, четыре года освещавшей мою жизнь, и далекой по своей душевной замкнутости, отгороженности от меня.

— «Откройте» — так молил однажды я ее в минуты близости — «хотя одно только окно вашей души!».. Но окна оставались наглухо закрытыми, сияя лишь извне, как стекла дома в отблеске холодной угасающей зари..

Рассказывать о самом путешествии нет основания по двум причинам: по начавшемуся уже в ту пору охлаждению моему к работам полевых натуралистов и по неумению моему отдаться только туристическим восторгам.

Ни волшебные картины Енисея, мчащегося в каменистом своем ложе, ни немолчный рев в долине Абакана, ни тайга в ее могильно-молчаливой величавости, ни сказочное сочетание озер и леса в отрогах Саян — не в силах были заменить мне блеск страниц великих мастеров научной книги стиля Геккеля и Гексли, Дю-Буа-Реймона и Мильн-Эдвардса.

И, вспоминая пятимесячные странствования по предгорьям Саян, я вынужден признать, что лучшими моментами были в то время периодические возвращения в Минусинск для отправки собранных коллекций и для получения писем из Москвы.

Одно из этих возвращений мне особо памятно. То было среди лета. Ехал я из Чебаков, открытой и унылой степью, ночью, среди полного безлюдья и гнетущей мертвой тишины, ритмически лишь нарушаемой позвякиванием колокольчика коренника.

Внезапно темь и тишь сменились яркими лучами света и ликующими звуками игры и пения... белые платья промелькнули, как волшебные видения в веселом танце, но мгновение-другое.. и весь шум и свет остались далеко за нами и кругом все та же степь унылая и та же глушь, и та же темь...

— «Шира»! — ворчливо бросал сибиряк-возница. Этот переезд в ночную пору через местный небольшой курорт нередко вспоминался мне потом, как некий символ моей жизни: светлые, но мимолетные ее мгновения и годы беспроектной мглы и одиночества.

Но был в ту пору огонек, манивший как маяк при возвращении в город из очередного выезда в тайгу и степи: ожидание конверта с тонким и изящным женским почерком..

Увы! те два письма, которые дрожащими руками я раскрыл, идя по пыльным минусинским улицам, ничем не походило на приветливое расставание при моем отъезде.

И опять, и снова горестное беспокойство заливало душу и я мысленно переносился через необъятные пространства, отделявшие меня от родины, в уютный уголок заветной комнаты, или в охваченный жасмином и сиренью домик, живо представляя себе ту, которой отдал я так беззаветно свои юные и чистые порывы.

Помнится, как подвезя меня от пристани к квартире, нами снятой в Минусинске на все время нашей экспедиции, извозчик-сибиряк, подъехав к дому, обернувшись, деловитым тоном, словно дело шло о чем то самом очевидном и естественном, спросил меня: — «А девушка вам не потребуется?»

В ужасе я отшатнулся, точно от удара по лицу, я спешно отпустил возницу, опасаясь, как бы грязные слова его не осквернили чистоты моей любви..

Но наступил и день отъезда из Сибири. Долгий переезд в вагоне, и опять, как три года тому назад, сознание радостного возвращения, как лучшего момента всей поездки.

Снова регулярные по Средам посещения Денежного переуллка, по Субботам — Трубецкого, дома Христофоровых, с его уютным садиком, беседкой и обширной, мне столь памятной поляной и качелями.

Как-то, в одно из посещений сада, я стоял с Марией Викторовной в беседке в обществе ее подруги по гимназии, Наталией Петровской — дочери доктора А.Г. Петровского, «друга великих людей», как называли мы его за его близость к кн. С. Трубецкому и Владимиру **Соловьеву**.

Вспомнилась ли Марии Викторовне одна сцена в повести **Тургенева** («Первая Любовь»), или «Перчатка» Шиллера, но, шаловливо улыбаясь, предложила она мне — спрыгнуть с высоты двух метров в сад. Хотя прыжок был менее рискован, чем в тургеньевском рассказе, и, конечно, менее опасен, чем подобное же поручение в балладе **Шиллера**, но понатыканные жерди у подножия беседки и густые заросли крапивы делали скачек не из приятных.

Не колеблясь, я готов был тут же выполнить его и лишь в последнюю секунду остановлен был в моем намерении.

Помню последнюю кадрили в гостиной Христофоровой и, как всегда, с Марией Викторовной.. и тут же, как то скорбно-холодно смотревшую на нас Надежду Михайловну...

Помню проводы ее и дочь до дома, радостное возвращение к себе.

Проходит день, другой. На утро третьего приносят телеграмму: «Надежда Михайловна внезапно скончалась.»

Часом позже узнаю причину смерти: «отравилась!»

Молотом ударило мне в голову и, выбежав из комнаты квартиры Шперлингов, я, прислонясь к перилам лестницы, заплакал горько-безутешно, полагая, что я — косвенный виновник ее смерти.

За немного дней до этого трагического утра, я, в виде глупейшей шутки, на шутливую, как мне казалось просьбу Надежды Михайловны, принес с собою банку с Циан-Калием, который ей хотелось посмотреть.

Взяв банку в руки, она встала со стола и бросилась из общей комнаты в свою, успев при этом запереть ее на ключ.

Лишь на мои горячие мольбы, она открыла дверь и возвратила банку с ядом, уверяя, что нисколько не воспользовалась им, что, судя по закупорке, казалось правдой.

Унося затем домой предательскую банку, я, насколько помню, не был склонен относиться к происшедшему серьезно. Но, естественно, что услышав о смерти через отравление, я мог связать ее с моей оплошностью. Лишь на повторные свидетельства, что смерть последовала от хлороформа, — я пришел в себя, но слишком поздно, да и неуверенно, чтобы в такой трагический момент семьи ей оказать моральную поддержку.

Рассказывать о поводах, приведших к этому отчаянному шагу, самовольно кончить жизнь, имея трех детей и взрослую при этом дочь, здесь не приходится. Лишь из отрывка завещания и письма, оставленного детям, помню я упоминание о том, как грубо обманул ее давно любимый человек. Всем нам, он был известен, пожилой и внешне мало интересный врач, невропатолог. И нужна была особая принципиальность, высота морали, чуткость совести, чтобы не пережить такого позднего разрыва.

С помощью знакомого врача факт отравления официально скрыли и поскольку завещанием покойной к детям перешли значительные средства, жизнь их, на ближайшие, по крайней мере, годы, оказалась обеспеченной, тем более, что опекуницей Марии Викторовны назначалась Христофорова, имевшая сама большое состояние.

Помню, как после похорон, собравшись на квартире у последней, все невольно поразились выдержкой Марии Викторовны: в длинном черном платье, маленькая «Ниобея» редкой сдержанностью и спокойствием ничем не выражала внутренних переживаний. И тем неожиданнее сложились для меня последующие дни.

Однако, прежде, чем переходить к дальнейшему, два слова об одной семье, сыгравшей также роль, не малую, в моем романе.

По фамилии **Островских** состояла названная семья из пожилой вдовы бывшего крупного судебного чиновника, трех взрослых дочерей, Марии, Ольги и Натальи и единственного сына, Михаила Павловича, студента юридического факультета, будущего товарища прокурора.

Вместе с ними, в положении полуродственника, жил еще болезненный и пожилой чиновник банка, по фамилии **Плещеев**.

Это нахождение под той же крышей двух носителей писательских фамилий дало повод к эпиграмме, вывешенной как-то на дверях квартиры, следующего содержания:

— «Не удивляйся, о читатель, — но знаменитостей здесь — нет!  
Здесь есть **Островский** —  
**не** писатель, здесь есть  
**Плещеев** — **не**  
**поэт!**»

Младшая дочь, Наталья, была замужем за офицером, братом знаменитого в ту пору тенора, **Собинова**, и вся семья жила под знаком этого «высокого» родства.

Что же до Михаила, то он представлял собой веселого и благодушного, но дюжинного малого, широкоплечего и крепкого сложения, снискавшего ему среди товарищей не слишком эстетическое прозвище «Кубышка». Обладая он некоторым голосом и музыкальным слухом и, подобно сестрам, жил под ореолом знаменитого певца и родственника — **Собинова**.

Такова была семья, которая, живя в квартире, этажом лишь ниже Шперлингов, не могла с ними не сблизиться.

И в той же степени, как мною был упущен случай оказания поддержки для семьи, лишившейся своей главы, момент этот был хорошо использован семьей Островских, что, конечно, облегчалось территориальной близостью.

Но вот проходит пара дней, с того трагического дня.

Сославшись на естественное нежелание остаться вечером одной в квартире, еще полной тягостных переживаний, Мария Викторовна спустилась в расположенное ниже помещение Островских, как обычно проводивших вечера в театре, в роли «Собинисток», чтобы с их согласия там провести со мною вечер.

То был жгучий по воспоминаниям вечер. В небольшой гостиной, при полупогашенном вечернем свете, потонул в несчетных поцелуях первый мой до времени когда-то сорванный:

Хотела ли она забыться от жестоких, тягостных переживаний, пробудилось ли давно приглушенное чувство, но, как в одной повести у **Роденбаха**, смерть с любовью еще раз отпраздновали свой загадочный союз.

Но вспоминая этот жгучий вечер, как и многие последующие, я в праве утверждать, что в те мгновения я чувствовал себя столь же далеким от предельной близости к любимой девушке, как к той, что предлагал мне минусинский сибиряк-возница.

И не потому, чтобы мне чужды были знойные порывы, или образы. Ведь было мне двадцать три года, был я полон сил, но связь с любимой женщиной я мыслил себе только в браке.

Между тем, — и это знаменательно — за все пять лет моей любви к Марии Викторовне, мысль о женитьбе, о соединении наших жизней, — как-то не укладывалась в представлении. Потому ли что развитием своим она заведомо меня превосходила, а мое призвание ей было чуждо, потому ли что весь дом ее не гармонировал с моим, но всякий раз, когда я мысленно прикидывался к ней на положении ее «мужа», — самая возможность этого казалась чем-то нереальным и надуманным.

Заговори она сама о браке, я, наперекор всему, склонился бы к ее ногам... Но даже в самые интимные мгновения слова «жена» и «брак» ни разу не срывались у меня и уменьшительное имя Марии Викторовны только раз, при первом поцелуе.

Самая мысль о последнем шаге нашего сближения казалась мне кошунственной. Словно стальная «стола» — одеяние знатных римлянок — незримо защищала милый образ от подобных мыслей, между тем как вне его, этого образа, знойные грезы все сильнее волновали грудь.

То было странное, мучительное состояние: всем пламенем души я рвался к этой девушке, но даже в самые интимные мгновения я чувствовал, что некая стена нас разделяет, что как «женщина» — она — не для меня.

И только многим позже мне раскрылся глубочайший смысл этой романтической антиномии: как ступень к переключению моей мучительной любви к этой чужой по существу мне девушке — на некую другую, высшую любовь, имеющую оправдать и предрешить путь моей жизни и мое посильное служение людям, и мою другую жизненную встречу.

Но пробиться до такого понимания этого пути дано мне было лишь ценой невероятных мук и жертвенного отречения.

Наступили месяцы мучительной и сладостной агонии.

Как бы за тем, чтобы мне дать возможность личным моим опытом изжить ряд сцен из жизни некоторых Тургеневских героев, Мария Викторовна попеременно мне являлась в образах то Зинаиды («Первая Любовь»), то Марии Николаевны («Вешние Воды»), то — Ирины («Дым»).

Так, помнится, однажды, я, спеша скорее увидеть ее, пришел без белого воротничка, в цветной рубашке, выступавшей из студенческой тужурки, т.е. в облачении, обычном при моих работах в Университете.

Увидав меня в таком костюме, Мария Викторовна отвернулась, заявив, что я одет не должным образом.

Увы! моя ответная реакция была не та, что моего литературного прообраза, Литвинова, и часом позже я явился снова в полном «grand tenue».

Мучительнее был другой «этюд», разыгранный под «Зинаиду» у **Тургенева**, или «Наташу» **Льва Толстого**.

Были мы вдвоем за чаем. Потому ли, что от самовара становилось несколько угарно, или независимо от этого, но Мария Викторовна сняла с него конфорку и, смеясь, мне предложила протянуть к ней руку...

Один миг и на руке моей, у основания большого пальца, от прикосновения раскаленной меди, заалел ожог.

Не будучи готовым к роли Муция Сцеволы, я тотчас же отдернул руку, стиснув зубы от сильнейшей боли.

— «Хочешь и я поцелую это место на твоей руке?» — спросила Мария Викторовна, нежно заглядывая мне в лицо, тихо добавив: — «Это — первый раз, что я сказала **ты!**»

Да, это было в первый и последний раз и для второго «Ты», я, кажется, готов был протянуть вторую руку..

Осложненный медным окислом, ожог потребовал довольно долгого лечения и ношения повязки. Но показательно и то, как Мария Викторовна, видя меня в обществе с рукой на перевязи, наивно спрашивала меня о причине повреждения руки, смеясь лукаво над моими сбивчивыми ответами...

А в сущности, нося эту повязку, я был счастлив и гордился ею, как былые рыцари средневековья, при вручении им повязки от их повелительницы-дамы, как гордились они шрамами от поединков в честь любимой.

Помнится, как много раньше, в бытность Марии Викторовны девочкой-подростком лет 13-ти, пришлось ей заболеть ветряной оспой, и как страстно я желал, что бы ее болезнь перешла ко мне.. Страдание от любимой и через нее... Но не всегда они столь же отрадны, как ожоги рук.

Только один пример. Думая сделать удовольствие любимой девушке, я самолично изготовил группу чучел крохотных **Колибри** из имевшихся у меня шкурочек этих изумительных по оперению птичек.

Просидев за их изготовлением ряд вечеров, я преподнес свою продукцию, — живые некогда топазы и сапфиры Марии Викторовне.

Но прошло немного дней и мой подарок оказался в кухне, на стене кухарки, рядом с самоваром и кастрюлями...

На мое грустное недоумение последовал ответ: «Эти две вещи я не смешиваю!»

И, чем далее, тем все мучительнее это резкое чередование ласки и пренебрежения.

Апофеозом моих мук была задуманная Марией Викторовной зимняя поездка в Дмитровское имение ее дяди, Николая Мих. **Бугайского**, то самое, где так чудесно было прожито первое лето после окончания гимназии.

Ехали трое: Мария Викторовна, я и Михаил Островский.

Самый факт его участия вносив в поездку элемент чего-то двойственного и фальшивого, поскольку именно ему пришлось сопровождать Марию Викторовну из ее квартиры на вокзал. Не помню переезда в поезде, тем ярче — лошаадьми, в санях от Дмитрова, лесной дорогой, до именья.

Ехали мы долго, в раскидных санях ковровых, запряженных парой, Мария Викторовна посредине и мы двое по бокам.

По обе стороны дороги — снежные сугробы и шпалеры высочайших елей, сверху до низа одетых то безжизненными саванами снега, то сверкавшей ослепительно алмазами фатой.

Стояла ясная январская погода, жгучий, обжигающий мороз. По большей части мы молчали... Словно саваном готовилась покрыться и моя любовь к сидевшей рядом девушке, закутанной в ротонду матери, напрасно так поторопившейся своим уходом.

И не радовало меня вечное убранство леса.

Вот и самая усадьба. Ласковая встреча нас гостеприимными хозяевами, грузным Николаем Михайловичем и его сублильной, маленькой женой, Надеждой Ипполитовной. Прелестные три маленькие девочки, Лена, Тамара («Томочка») и младшая Надежда, повышали тот уют, который так заметно чувствовался именно зимой в большом помещицьем просторном доме.

Помню, как на следующий день дали мне лошадь для поездки к Поливановым, в «Надеждино», имевшей целью посмотреть на стены, видевшие ночь после столь памятного бала.

Занесенный снегом дом казался еще более запущенным и дряхлым, как и обитатели его, и вся картина разрушающейся жизни только гармонировала и с моим прощальным настроением.

Вернувшись в дом Бугайских я увидел там другого гостя, сослуживца нашего хозяина, также завязаного охотника. Предполагалось ехать следующим утром за лосями, приглашали и меня, суля уверенно удачу. Я, конечно, отказался: ехать убивать чудесное животное, когда во мне самом мучительно и скорбно умирало мое прошлое!

На утро проводив охотников, мы некоторое время проблуждали несколько бесцельно по большому дому, а затем Мария Викторовна предложила мне пройтись в соседнюю деревню, чтобы навестить ее старушку-няню.

Побывав у ней, Мария Викторовна повела меня на памятную нам прогалину в лесу, впервые услышавшую когда-то ее робкое полупризнание.. «Помните?» спросила она здесь меня. Ответом были только две слезы упавшие на снег.

По возвращении в дом, после обеда, мы задумали играть с детьми в детские игры, «Прятки», «Короли» и «Палочку-выручалочку», чему содействовали размеры комнат. Помнится, как бросившись ловить Марию Викторовну и догнав ее в одной большой безлюдной комнате я, взявши ее за руку, взглянул с таким страданием, что она откликнулась холодным поцелуем..

А минутой позже и она кокетничала с Островским, сидя с ним в соседней комнате. Вернувшись в зал, Мария Викторовна оставила случайно, или преднамеренно в соседней комнате свой носовой платок.

Стремительно мы оба, я с Островским бросились за ним. Единовременно схватив платок, мы вырывая его друг у друга, чувствовали, что борьба эта — не за один платок... В конце концов платок остался у меня в руке, залогом, символом того, что подлинный итог и оправдание встречи с этой непонятной девушкой будет уделом мне, а не его.

Еще грустнее было возвращение и не порадовал меня момент, когда по выходе Островского из отделения вагона, увидав, как я страдаю, Мария Викторовна ко мне склонилась и поцеловала.

Это был ее последний поцелуй и в своем черном одеянии она казалась мне в тот миг живым и скорбным олицетворением ее до срока умирающей любви.

Чем дальше, тем все холоднее становились отношения ее ко мне.. Я чувствовал, что я стремительно ее теряю, что я в сущности уж потерял ее.

Но, как сорвавшийся с утеса путник, низвергающийся в пропасть, силится замедлить, задержать падение, цеплянием за жалкие травинки, так и я пытался отвлечь свою потерю способами, явно непригодными.

То я взамен когда-то ранее ей подаренного кота, дарил другого, оплатив его из средств, полученных от ликвидации некоторых чучел моего Музея, но лишь с тем, чтобы подарок мой был ликвидирован на следующий день.

То я в угоду той же Марии Викторовны провожал ее на бал (вместе с Островским!), в дом родителей ее подруги, миллионеров, чтобы видеть как она танцует с новыми знакомыми ей кавалерами, а днем позднее ехал отдавать визит за это относительное удовольствие..

И нет той глупости, которую бы я не делал, той травинки, за которую я не цеплялся, чтобы удержаться при моем падении с высот бывшего мне казавшегося счастья.

Все суровее и чаще раздавалось на мои высказывания на ту, или иную тему, иронически- высокомерное: «Вы ничего не понимаете!» В слезах «омытый» уходил я каждый раз от Марии Викторовны, с зарокотом более не приходив и через день- другой опять бежал в знакомый деревянный двухэтажный домик Денежного переулка, будучи уверен, что опять застану там Островского.

Мучительное вообще такое состояние мое с особой горечью воспринималось мною с приближением весны и оживанием природы.

Помнится, как наступил так наз. «Тройцин День» и следующий за ним «Духов день», — два подлинно весенних праздника, и как именно в тот день я осознал особенно болезненно мое большое горе.

Будучи не в силах справиться с самим собой, сидя в квартире у себя, я вздумал выехать скорее загород, надеясь несколько развлечься видами цветущей, распутившейся весны.

Доехав на тогдашней «конке» и «паровичке» до станции «Соломенной Сторожки» за Петровским Парком я направился в Петровско- Разумовский лес, столь мне знакомый еще с детских лет по ловле бабочек.

Увы! так радостно встречавший меня мальчиком, этот чудесный лес теперь мне показался чуждым, хмурым и враждебным, столь же безучастным к моим горестям, как девушка, от близости которой я искал спасения под пологом его листвы. Я сразу понял, что с утратой красоты моей любви навеки для меня потеряна и красота природы.

Нравственно разбитым возвратился я к себе домой, но не надолго. И охваченный все возрастающей тревогой я направился к квартире Христофоровой, решив через нее добиться полной ясности создавшегося положения.

В слезах поведав ей свой мартиролог, я просил ее поехать к Марии Викторовне и привезти мне тот, или иной ответ... Безумец, внутренне я еще смел надеяться на положительный!

Мучительное ожидание, час-другой. Помню себя стоящим в небольшой гостиной Христофоровой, спиной к стене и странное спокойствие тут овладело мною. Словно не моя судьба готовилась решиться в этой комнате, не для меня вошли две женщины, одна высокая, словно сошедшая с холста **Крамского** («Безутешное горе») а другая моя маленькая «Ниобея», обе в черных платьях и я сразу понял, что ответ мне будет отрицательный.

— «Маруся для того приехала сама» — чуть слышно прошептала Христофорова, — «чтобы вернуть Вам ее слово!»

— «Правда ли это?» — сорвалось невольно у меня.

Молящий, скорбный взгляд, но обращенный не ко мне, а к Христофоровой, лишь подтвердил ненужность моего вопроса.

Молча, обе удалились.. Я стоял убитый, словно пригвожденный к месту, ставшему мне эшафотом.

Но внезапно, как в мгновения смертельно угрожающей опасности перед сознанием людей всплывает панорама всей их жизни, так в сознании моем вдруг встали все прошедшие пять лет во всем своем очаровании.. Мысль о возможности утраты их навеки показалась мне настолько страшной, что я бросился в переднюю к обеим женщинам, прощавшимся перед уходом младшей.

Не взирая на присутствие прислуги — в то мгновение мне это все равно! — я с плачем бросился к ногам любимой девушки, моля ее не об уходе.. о любви ко мне..

Ошеломленная она склонилась надо мной, стараясь поддержать меня надеждой: «Может быть я в будущем вас очень полюблю!» и ласково пожав мне руку, еще раз кивнув, оставила меня.

Еще немного и глухой, тяжелый стук парадной двери, возвещая об уходе, как удар земельной глыбы об опущенный в могилу гроб, поставил все на свое место.

Завершился некий «круг» моей тогдашней жизни, и, казалось, наступило время сделать должный вывод и направить жизненный корабль по другому руслу. Но в тот скорбный час мне было не до этого. Ближайшая забота состояла в том, чтобы унять хлеставшую из раны кровь, утишить ее боль.

И всего прежде надо было выехать куда-нибудь, куда бы ни было, чем дальше, тем надежнее. Тогда же было решено немедленно по окончании мне предстоявшего последнего экзамена уехать в украинское имение Христофоровых, на юг, в былую Екатеринославскую губернию, а временно, до этого, поехать с Христофоровой к ее, да и моим знакомым, Гоголицынам, в их небольшое подмосковное поместье по Савеловской дороге.

Как сама владелица его, Капитолина Николаевна, так и обширная семья ее мне были хорошо известны еще ранее, через знакомство с ее сыном Алексеем, одноклассником старшего Шперлинга.

Четыре дочери, частью на возрасте, **Соня** — медичка, **Вера** — естественница, **Надя** — лишь кончавшая гимназию и **Аня**, младшая, еще учившаяся — представляли образец культурной русской образованной передовой семьи, как нельзя лучше олицетворенной в образе их матери: высокой стиженной типичнейшей шестидесятницы, словно сошедшей с полотна Маковского, его картины «Вечеринка».

Находившаяся близ усадьбы Школа была создана при непосредственном участии этой семьи, на сборы от литературных вечеров и театральных постановок, завершавшихся обычно танцами, мне памятных по посещению их вместе с Марией Викторовной.

Младшая дочь, Аня, явным образом благоволила к старшему Шперлингу, Сергею, **Вера** — видимо ко мне и весь дом оваян был какой- то розоватой дымкой легкого влюбления, обычной для многодочерних семей.

В этот дом, в эту усадьбу, мне дотоле неизвестные, и решено было отправиться на пару дней, чтобы на время вырваться из угнетавших меня стен и горестных воспоминаний.

Словно в полусне последовав за Христофоровой, сидя в вагоне, а затем в пролетке, безучастно к окружающей природе, мы подъехали к Усадьбе. Скоротавши кое-как часы, оставшиеся до сна, мне отвели для моего ночлега небольшую комнату в отдельном флигеле, стоявшем несколько вдали от дома, спереди открыто, сзади, с тыла обрамленного густыми зарослями липы и черемухи, сирени и акаций.

Приближалась ночь. Не раздеваясь и не думая о сне, сидел я у окна, держа в руках мне дорогую карточку и не спуская глаз с нее при свете угасающей зари, сквозь слезы, застилавшие глаза.

Внезапно за окном раздался резкий, словно вопрошающий кого-то звук: «Чок!».. — «Чок!» — раздалось ему в ответ. Как будто кто-то спрашивал: «Пора ли начинать?» И кто-то отвечал: «Пора!» И еще раз, еще раз тот же тревожный, вызывающий вопросный оклик... И как будто заручившись предварением чего, началось вдруг нечто невообразимое.

Со всех концов, со всех углов чащи, кустов и зарослей, что окружали сзади дом, поднялся оглушительный, немолчный не концерт, а вопль соловьев.

Ликующей фанфарой оглашал он всю округу, наполняя дом и мою комнатку, и мое сердце.. И, однако, не победным гимном «торжествующей любви» звучал он для меня, а гимном укоризны, горестным напоминанием:

— «Она была твоя шептал мне вечер мая,  
Дразнила громко песня соловья,  
Теперь он смолк и эта ночь немая  
Мне шепчет вновь: Она была твоя!»

Эти стихи, когда-то читанные Марией Викторовной, скорбно и мучительно припоминались мне в ту ночь, но не в пример Апухтинскому соловью, реальные певцы той ночи не смолкая продолжали ликовать всю ночь. То была подлинная пытка и как сожалел я, променяв на соловьиные фанфары гром и грохот уличных ломовиков...

Едва ли нужно говорить, что днем позднее я уже стоял на станции («Расторгуево») для возвращения в Москву, и здесь одна ничтожная деталь запомнилась мне на всю жизнь.

Безучастно относясь за время пребывания в «Потапове» к его милейшим обитателям и его женской молодежи, я, в ожидании поезда, невольно обратил внимание на девочку-подростка, занятую тем, чтобы, жонглируя, пройти на некоторое расстояние по рельсам.

Детская, ребяческая шалость, но движения девочки были настолько грациозны и сама она вносила в них столько старания, что даже вышедший на станцию жандарм как будто не решался обратиться к ней с обычным замечанием.

Но привлекало меня к девочке не это, а ее прическа: гладкие волосы, причесанные на пробор, спускаясь от висок на ушки, обрамляли хрупкие и тонкие черты, напоминавшие другие.. Уж не «она» ли?! как-то вдруг мелькнуло у меня в уме, но подошедший поезд перевел мое внимание в другую сторону. И только много позже мне дано было понять причину моего внимания к этой безвестной девочке, к ее наивной девичьей прическе..

По приезде в город, чуть не с поезда пришлось приехать в Университет сдавать последний мне оставшийся экзамен по ботанике, мною выдержанный только потому, что отвечать мне приходилось не у самого профессора, а ассистенту, лично мне знакомому и вскорости затем умершему Валерию Аверкиевичу **Дейнеге**.

Не касаясь частных деталей моей работы в Университете, здесь уместно, забегая несколько вперед, дать общую оценку происшедшего при свете всей моей последующей жизни.

В разбираемую пору, летом 1903 года, мое будущее, как ученого, ни в коей мере не определилось. Даже раннее мое влечение к Орнитологии и мои связи с профессурой ничего еще не предreshали. Даже будучи



оставлен при Московском Университете для приготовления к профессуре, я мог, в лучшем случае стать рядовым лишь деятелем Высшей Школы и ученым рядового ранга.

И едва ли можно сомневаться, что моя исконная и основная страсть «музейца» рисковала оказаться без практического применения.

Понятно, почему. Дальнейшее коллекционирование в прежнем стиле, т.е. в форме «чучел» не имело смысла, ибо упиралось о вопросы помещения. Для собирания обычного (именно «тушками») я потерял влечение полевого орнитолога..

Но даже более того. Предложенную мне научную работу, эмбриологическую, я писал без энтузиазма, под угрозой потерять навеки интерес к лабораторному исследованию. Короче, к разбираемому времени вся моя жизнь, как зоолога, уперлась в стену, оказалась в тупике. И выйти из него возможно было только, заручившись новым свежим импульсом извне.

Но получить его возможно было не из книг, но личного сближения с наукой и культурой Западной Европы.

Хорошо известно, между тем, что в разбираемое время заграничные поездки для людей с лишь ограниченными средствами практиковались либо для научных целей, либо для лечения, будь то ожирения сердца, или более интимного его недуга.

Но едва ли нужно говорить, что для студента-второкурсника научные командировки отпадали, как и ожирение сердца. Оставался повод, более, чем основательный: моя душевная трагедия. Но, как при обращении с телесными недугами, недооценка их делает то, что заграничные курорты заменяют местными («Киссинген» — «Кисловодском»), так и в отношении меня в то время выезд за границу даже и не ставился. И не за недостатком средств. При всей тогдашней скромности наших ресурсов, деньги можно было бы достать. Но почему то этот столь обычный способ изживания сердечных ран, поездка за границу, никому не приходила в голову, а этим самым отпадал и тот идейный импульс для моей науки, о котором говорилось выше.

Идя, таким образом, по линии легчайшего решения вопроса, было решено отправить меня к Христофоровым в их украинское имение, с возложением на него роли «психического Кисловодска».

И потребовался года полтора спустя второй, более сильный шок в моей приватной жизни, чтобы вынудить мою поездку за границу, и тем самым обеспечить мою будущность, мое призвание.

Рассказывать подробнее о лете, проведенном в том году у Христофоровых, на юге, — нет особых оснований. Переезд от захолустной станции до Христофоровской усадьбы, как и самый быт помещика и самодура «Лошкаря» (как прозывался Христофоров среди местных жителей, — все было в стиле, так неподражаемо описанного Чеховым в одном из замечательных его рассказов (именно: «В родном Углу»). И если бы не книги, мною взятые тогда с собой (так незадолго перед тем вышедшие лекции Вейсмана) — два месяца, прожитые на юге были бы на положении «пустого места» в моей жизни.

Не смягчив своей душевной раны, возвратился я в Москву к тому же и физически больным, схватив при переезде малярию, от которой я избавился не сразу.

Помню, как едва оправившись, еще не твердо стоя на ногах и подкрепившись дозой брома, поднимался я — увь! — опять по столь знакомой деревянной лестнице квартиры Денежного переуллка, чтобы в робкой форме возвратиться к фразе, на прощанье мне брошенной при расставании у Христофоровой. — «Я ничего Вам не могу добавить к сказанному тогда!» — ответила мне Мария Викторовна, холодно кивнув мне на прощанье.

Шатаясь от болезни и оказанного мне приема, возвратился я домой, тут же решив вернуть Марии Викторовне немного, что у меня было от нее: несколько писем, в том числе чудесную приписку четырехлетней давности, когда-то орошенную слезами радости над Иртышем, ручку янтарную да книжку со стихотворениями Кольцова с карандашными пометками 13-тилетней девочки с упреками по поводу упоминания автором «то голубых очей, то черных» ( — «Видишь голубые, а давно ли были черные! Непостоянен, как и все мужчины!»). Помню, что пометка эта мне доставила намек на удовлетворение.

К посылке прилагалась мною пара строк, лишь выражавших мою скорбь по поводу непостоянства ее чувств.

Полученный ответ был краток: «Чувство было, его больше нет. Желаю вам всего хорошего.»

Таков был заключительный эпистолярный росчерк, подводивший временно черту над шестилетней романтической эпопеей. И поскольку до действительного эпилога было далеко, мне предстояло примириться с моим грустным одиночеством.

Усугублялось оно тем, что именно в ту пору, моя мать переживала временный разрыв со своим мужем, моим отчимом, и временно оставила Москву. За ликвидацией нашей квартиры приходилось озаботиться на счет жилья. И здесь с особым теплым чувством вспоминаю я отзывчивое, дружеское отношение ко мне семейства Кобылинских, мне помогших снять уютную коморку рядом с их квартирой и возможность столоваться в их семье.

Доселе помню я эту коморку, лишь едва достаточную для вмещения кровати, пары стульев, маленького шкафа с книгами и письменного стола. Особенный уют давала дровяная печь, топившаяся от меня. Единственное окно смотрело на Москву-реку, в пору занесенную снегами и окованную льдом.

При ежедневных переездах в Университет и поздних возвращениях, я проводил в своей коморке только ночь а вечера обычно разделяя с Кобылинскими, и в частности их матью с особой бережностью относившейся тогда ко мне.

Не бывши никогда особенно общительным, я уходил к себе при посещении моих соседей лицами, мне мало близкими, будь то входивший тогда в моду Андреич **Белый** и Сережа **Соловьев**, племянник знаменитого философа.

Помню один из этих вечеров. Не покидавшая меня тоска особенно томила меня в этот день. И сидя у себя, у догоравшей печки, я ловил себя на мысли, что тоска моя проистекает от того, что я не окончательно порвал со своим прошлым, что изжить воспоминания о нем мне будет легче, если уничтожить вещных их свидетелей.

И вот, достав из сокровенной части своего стола хранившиеся в нем пачки фотографий Марии Викторовны и любительские снимки, закреплявшие то феерическое лето, что приблизило ее ко мне, я начал жечь их, весь охваченный каким-то сложным чувством боли, страха и отчаяния.

Но вот последний «взмах огня» над канительной серебристой бабочкой, когда-то мне подаренной на бале у Каменских и немедленно же горькое, жестокое раскаяние в содеянном.

И мне безумно захотелось видеть ту, образ которой мною был испепелен.

В ближайший день «жур-фикса» Христофоровой облекся я в давно уж ненадеванный студенческий сюртук и получасом позже был уже на месте.

В новой и обширной, хорошо обставленной квартире, ближе к центру города, уже теснилось несколько десятков лиц, обычно составлявших «серкл» христофоровского вечера: профессора литературы **Стороженко** и финансов **Озеров**, ряд молодых философов, как **Фохт**, **Кубицкий**, молодые литераторы-поэты, Андрей **Белый**, Соловьев Сережа, тут же сестры **Гоголицыны** и среди них и Мария Викторовна, кивком ответившая издали на мой поклон.

Как и обычно, после чая, общество направилось в гостиную для проведения очередной программы вечера, его обширной музыкальной части, выполнение которой доверялось жене **Фохта** (Сударской маленькой, довольно уже пожилой кургузой женщине, но замечательной пианистке.

Потому ли, что среди присутствовавших многие привыкли меня видеть в обществе рядом с Марией Викторовной, и потому оставили незанятым стоявшее с ней рядом кресло, по моей ли слабости, но я фактически во время исполнения концерта оказался рядом с ней.

И тут мне предстояло пережить страдания, сравнимые лишь с «соловьинной ночью».

Словно преднамеренно, для растравления душевной моей раны и напоминания о той, которая сидела рядом, зала стала наполняться звуками то плачущего ..... то рыдающего Листовского .....

Сиди я где-нибудь в задних рядах, я незаметно бы ушел. Не то теперь. Пришлось сидеть и слушать похороны сердца моего и тризну по любви моей. Как сотни раз за долгие шесть лет, сидели мы, соприкасаясь

платьем, но впервые за шесть лет от ее складок веяло могильным холодом. Не двигаясь, словно боясь оборотиться, на меня взглянуть, сидела Мария Викторовна, всем своим видом, строгим выражением лица давая мне понять, что она только терпит мою близость и не думает заговорить со мной.

Словно привязанный пытуемый я всеми силами старался внешне соблюдать спокойствие, внутренне корчась от душевной боли, от бессилия остановить рыдающие звуки, еще менее — растрогать ими ту, что сидела рядом...

Ведь не мог же я, как в соловьиную ту ночь, зажать руками уши, чтобы приглушить те звуки, что лились по зале, словно исходя из моего истерзанного сердца, словно раскрывая всем присутствовавшим его рану, всю трагедию моей души.

Дождавшись перерыва, я пробрался в раздевальню и накинув на себя шинель, стремительно сбежал на улицу и в полном смысле слова бегом бросился домой, словно преследуемый плачущими звуками и холодом сидевшей со мной рядом каменной «Галатеи».

Этого опыта было достаточно, чтобы в дальнейшем отказаться от подобных вечеров и встреч.

Но даже удалившись от большого общества, уйдя в научную работу, мне не удалось огородить себя от новых непредвиденных страданий.

Неожиданно зимой того же года получаю я письмо без подписи, но с приглашением прийти по адресу, мне будто бы известному, к определенному указанному дню и часу.

Почерк отправителя, вернее отправительницы, несколько напоминал единственный мне дорогой. Но анонимность самого послания меня смущала.

Посоветовавшись, я решил не откликаться на загадочное приглашение, и с тем большим основанием, что никакого женского знакомства, на которое могло бы пасть сомнение, у меня в ту пору не было.

Несколько позже удалось установить, что время, мне назначенное для свиданья совпало с тем, в которое Островский должен был сопровождать больного своего сожителя в больницу и подолгу оставаться с ним, что в этот редкий вечер Мария Викторовна была заведомо одна.

Учитывая это, я уже не сомневался в авторше письма и попросил о назначении мне другого дня и часа.

Трудно передать то чувство оскорбления, которое доставило мне ответное письмо, сурово-назидательно мне пояснявшее, как должно относиться к анонимным письмам. Окончательно униженный, я принял этот новый неожиданный удар, как некий *Coup de grace*.

Не скрою, что изложенный здесь эпизод отчасти приглушил мою тоску, чему отчасти посодействовала интенсивная работа в Университете над моим лабораторным кандидатским сочинением.

Но подошла весна. Экзаменов в этом году у меня не было (на III-ьем курсе их не полагалось), а поскольку младший Кобылинский уже кончал Университет, готовясь с осени для деятельности педагога, ничего в ту пору не удерживало от раннего отъезда из Москвы в деревню.

При обширных связях Кобылинской с разными усадьбами, нетрудно было и на этот раз устроиться в чудесном небольшом имении под Подольском, близ селения «Дубровицы». И было лишь естественно и мне примкнуть к этому плану проведения каникул.

Помнится, как по прибытии на станцию Подольск и выйдя через тыловой его подъезд для следования далее на лошадях, мы неожиданно, лицом к лицу, столкнулись с сестрами Островскими, пришедшими на Станцию в виде прогулки за газетами и письмами.

Еще не видя, я почувствовал всем существом моим, что среди них и Мария Викторовна.

— «А ничего, что вам придется жить с Марусей по соседству?» — озабоченно спросила меня Варвара Петровна. Вместо ответа я мог лишь пожать плечами.

К счастью самое соседство было не чрезмерно близким: расстояние между обеими усадьбами, нашей и снимаемой Островскими, определялось километрами и самая усадьба их лежала по ту сторону от главного

шоссе. И все же непередаваемое чувство овладело мною, смутное сознание, что солнце прежней моей жизни снова неожиданно придвинулось ко мне.

Однако, в разбираемую пору мысль о возобновлении сближения была мне далека: ответ на анонимное письмо был еще слишком памятен.

Усадьба, предназначенная для жилья нашего, оказывалась уютным флигельком, лежащим несколько поодаль от большого дома обладателей имения — Давыдовых. Приветливая церковка с прижавшимися к ней приземистыми домиками, да громадный парк заканчивали этот скромный пейзаж. А дальше, за цветистым лугом пробегала живописная дорога, обрамленная местами купами берез и лип, а еще дальше, под уклон, к низине, небольшая речка с перекинутыми скользкими мостками, а за ней стена высокого, тенистого, густого леса и тропинка, уводящая куда-то вглубь. В общем: чудесное чередование Шишкина и Левитана.

И, однако, все это великолепие ландшафтов проходило тогда мимо моих глаз: То отчуждение природы, что когда-то, в день разрыва моего впервые овладело мною в Разумовском, — оставалось в силе и природные красоты, чем манящее, тем больше оттеняли мой душевный, внутренний разлад.

И тем сердечнее я откликался на простые, дружеские отношения ко мне семьи, меня вторично приютившей, и особенно на материнские ко мне заботы Варвары Петровны. Неизменно ласковая и приветливая она с равной инициативой и любовью то готовила на кухне, то следила за одеждой сыновей, участвуя всегда ответственно в наших беседах по вопросам, столь же разнородным, как интересы и призвания: литературы, медицины и естествознания.

Особенно я сблизился за это лето с ее средним сыном, Федором, студентом-медиком, впоследствии талантливым хирургом, помогая ему ежедневно в изучении немецкого учебника Отиатрии — Поллицера.

В общем очень замкнутая наша жизнь нарушалась посещением молодежи из соседнего имения «Дубровицы», да заходом к Давыдовым, в частности младшей дочери Ольги Владимировны, превосходной музыкантши.

Но в отличие от Кобылинских, часто и охотно посещавших в свою очередь «Дубровицы» я, вопреки повторным приглашениям, оставался дома и сидел за книгами в то время, как дубровинская молодежь из нескольких семейств, с обильным цветником девиц, с весельем проводила время в пикниках и танцах.

— «Чтобы вам поехать с ними!» уговаривала меня Варвара Петровна каждый раз перед отъездом сыновей ее в Дубровицы. Но та стена, что отделяла для меня в течение стольких лет любимую мною девушку от всех других, — стена еще существовала не смотря на то, что отделять ей было уже нечего..

Так проходило время до середины лета, когда вдруг однажды, поздно вечером, к уже темневшему крыльцу нашему с шумом подкатила деревянная телега, из которой высыпала целая ватага молодых людей и среди них и Михаил Островский.

Несколько сконфуженно он подошел ко мне и сообщил, что Мария Викторовна желает меня видеть, что она меня зовет к себе.

— «Она меня зовет!» уже стусившаяся темь ночная засверкала для меня алмазами... Забыты были в этот миг и анонимное письмо, и холод «Галатеи». Не прошло и десяти минут, как провожаемый участливым и грустным взглядом Варвары Петровны, я сидел уже на телеге и невидимый за темнотой возница умыкал меня куда-то, в глущь июльской ночи, и навстречу новым мукам, или радостям.

Помню, как мучительно было сидеть среди мне чуждой молодежи и невольно слышать непристойные их разговоры: вся душа моя была полна только одним — победой ожидаемой встречи.

Вот окончилась проселочная мягкая дорога и телега выехала на шоссе. Глухо и жестко застучали лошадиные копыта и колеса по убитому камнями грунту, вот еще немного и, налево завернув, телега въехала в обширный парк усадьбы, именуемой «Грачево». Еще несколько минут и мы остановились у подъезда, тыльного крыльца обширной дачи, занимаемой семьей Островских.

Встреченный радушно расположенной ко мне семьей, особенно старушкой-матерью, я внутренне весь сжался в ожидании мне предстоявшей встречи.

Но вот слышу приглашение Островского, последовать за ним: Мария Викторовна наверху и просит в ее комнату.

Помню, как следуя за шедшим впереди Островским, поднимаясь по ступеням, я невольно чувствовал себя узником, идущим за своим тюремщиком для получения свободы после длительного заточения.

Казалось, не было конца ступеням, наконец, они за мной. Просторная, большая комната с балконом. У стены кровать. Стол у окна. За окнами — темная ночь, июльская сырая ночь.

А в комнате, лишь слабо освещенной лампой, все светилось, ликовало, пело..

— «Как давно мы не видались!» с этой трафаретной фразой, для меня звучавшей, как эолова, приветно встретила меня Мария Викторовна, но не голосом застенчивым, как Кити при свидании после разлуки с Левиным, а тоном повелительницы над своим рабом. Увы! им я и был в это мгновение. Островский вышел.

Этой репликой вечернее свидание в сущности и ограничилось.

На утро, выпавшее тусклым и дождливым, я был снова наверху, у Марии Викторовны. Тут я впервые ближе присмотрелся к ней. Уже не девушка-подросток, а сложившаяся женщина, медлительнее и степеннее, чем прежде, но прическа «на пробор», с начесами, полускрывающими щеки, была прежняя и также обрамляла тонкие черты лица. Она сидела, как вчера, подле окна, за столиком и книгами.

Не помню нашего начала разговора, как вдруг послышался ее вопрос: — «Скажите, если бы сейчас, в эту минуту появилась здесь волшебница и согласилась бы вернуть былое, что бы вы сказали?»

Слезы брызнули из моих глаз. Я вышел на балкон, боясь, что разрыдаюсь. Мелкий дождь по-прежнему стучал по крыше заволакивая все вокруг, и небо, и деревья. Но во мне и вне меня все пело и сияло сказочно-волшебное. Ей не нужно было слышать моего ответа: слезы были убедительнее слов: «Потерянный и возвращенный рай!»

Пережидая дождь, Мария Викторовна взялась за книгу и перебирая медленно страницы (Лермонтова), нашла и прочитала хорошо известное стихотворение, последняя строка которого так много говорила мне:

— «Я говорю с подругой юных дней,  
В твоих чертах ищу черты другие,  
В устах живых — уста давно немые,  
В глазах — огонь угаснувших очей..»

Прочтя его, она заметила, что чувства, выражаемые в нем, гораздо более земные, чем то кажется на первый взгляд.

От **Лермонтова** — к **Метерлинку**, в подлиннике, небольшому сборнику стихов, недавно вышедшему под названием: .....

Выговаривала она по-французски превосходно и стихи в ее произношении звучали музыкой, особенно в последнем небольшом стихотворении, где говорится о любви и слезах, ею порождаемых, о том, что если первая порой и заблуждается, то слезы — никогда.

И снова слезы умиления стояли у меня в глазах и дождевые капли, что катились по стеклу, казались мне слезами радости. Как будто само небо, вторя мне, роняло слезы умиления и счастья.

Постепенно дождь стал затихать и мы спустились вниз.

Дождавшись прекращения дождя, мы вышли и направились по странной, узенькой дорожке (странной тем, что шла она все время сдвоенной, одна повыше, а другая — ниже..) в парк, тянувшийся вдоль речки, протекавшей вправо тут же, отделенная от дач лишь небольшой террасой.

Перейдя изящный, хлипкий мостик, шли мы вдоль высокого обрывистого берега, имея влево от себя все тот же лес и вышли на прелестную прогалину с широким необъятным видом вдаль. Внизу, чудесными изгибами вилась река, то обрамленная кустами, то вдали теряясь в беспредельном луговом просторе.

Длинная скамейка, оттененная высокими стеблями «Иван-Чая» словно приглашала к отдыху и любованию чудесной панорамой, правда, полускрытой дымкой пасмурного дня.

Но мы не сели, а стояли молча, словно в ожидании.

И вдруг, словно велением моей спутницы, в этот момент «свинцовых туч разорвалась гряда» и солнце, выглянувши из-за туч, внезапно осветило феерически эту бескрайнюю немую даль: поля и нивы на десятки верст до бесконечных линий горизонта.

Потрясенный, я едва услышал обращенный ко мне голос, тихо вопрошавший: — «Неужели так необходимо это Ваше „Брандовское“ „Все“ или „Ничего“?»

Я ничего не мог ответить, но казалось, получи я приказание броситься с обрыва, как с когда-то памятной беседки, я исполнил бы приказ без страха и без сожаления.

Долго смотрели мы на развернувшуюся сказочную панораму, но как бы исполнив свою миссию, чудесная картина стала меркнуть, снова затуманилась от набежавших туч и медленно погасла.

Молча возвращались мы по той же сдвоенной тропинке..

— «Я впервые чую запах лип!» невольно вырвалось в это мгновение у меня, вернувшемуся к восприятию красот природы.

Миновав площадку с нашей дачей, вышли мы из парка и пересекнув шоссе, свернули на проселочную, влажную после дождя дорогу со следами только что проехавших колес...

— «Как этим колеям» — так снова вырвалось у меня, — «так нашим жизненным тропам, боюсь я, никогда не слиться, Мария Викторовна!» Она молчала.

— «Вот „Кузнечики“ (название места)» — пояснила мне она, напомнив мне невольно этим словом незабвенный вечер, ожидавшийся так радостно, и так пророчески шепнувший мне судьбу героя, в образе которого я проводил тот бал.

По возвращению в дом, я сразу же почувствовал себя охваченным особо теплым отношением ко мне всех домочадцев, исключая сына, в обращении которого со мной была лишь внешняя корректность.

Тяготило ли его мое присутствие, или во исполнение приказа Марии Викторовны, но за время, что я пробыл у Островских он старался быть как можно менее заметным, оставляя нас наедине.

И только вечером, играя на площадке перед домом, с Марией Викторовной и со мной в крокет, я по тому, как он, обидевшись за что-то, прекратив игру, ушел домой, я понял, что права его были гораздо шире и определеннее моих.

Не сразу понял я любовно-родственное отношение ко мне матери его, милейшей дамы, Марии Константиновны. Быть может она видела во мне лицо, могущее урегулировать двусмысленное положение ее сына, именно поскольку юридически оформить отношение с ним, как будто не входило в планы Марии Викторовны.

И, однако же насколько более фальшиво, двойственно, слагалось мое собственное положение! Тем показательнее, что ни в отношении самого Островского, ни Марии Викторовны, я не чувствовал ни тени ревности, гораздо менее, чем три года назад, на бале у Каменских.

И не даром, помнится, я, незадолго до разрыва с Марией Викторовной, но тогда же внутренне его предвидя, идя, как то раз домой к себе в сопровождении Островского, наивно всю дорогу открывая перед ним историю моей любви, прощаясь крепко его обнял, чем как будто несколько смутил его.

Как бы то ни было, но вся бездонная фальшивость положения моего ни мало не смущало меня в это время. Словно бессознательно я чувствовал, что в моей жизни роль этой обожаемой мною девушки будет совсем иной, лежащей вне обычных бытовых условий и понятий.

Снова ночь в каком-то светлом полузабытьи и снова день, сулящий новые чудесные мгновения.

И точно, вскоре после утреннего чая мы вдвоем спустились к берегу реки, струившейся у самого подножья той лесной террасы, на которой были выстроены дачи.

Отвязав челнок, мы сели, я за весла, Мария Викторовна у руля и медленно челнок стал плыть вверх по реке, охваченной с обоих берегов густыми зарослями тальника, и временами столь высокими деревьями, что своими кронами они почти сходились, полузакрывая реку, медленно катившуюся под зеленым сводом.

Один, гонимый гневом Родины, в двойной безвестности закончит жизнь на больничной койке, уберегшей его вовремя от худшего.

Эта склонившаяся над рулем изящная «тургеневская» девушка уйдет из жизни, как тургеневский Базаров. Брошенная в качестве врача на фронт борьбы с белогвардейцами и тифом она вскорости погибнет, принимая от тифозной матери ребенка и похороненная близ церкви, вскоре затем взорванной, она исчезнет без следа даже в посмертном своем прахе.

И лишь третьему, ценой безмерных жертв, страданий, причиненных первыми двумя, удастся пережить эти страдания и жертвы в перлы творчества ума и сердца для идейного служения и радости великому народу.

Но по счастью, завеса будущего была плотно спущена и в это солнечное утро над рекой жизнь трех сидящих в челноке, так странно и провиденциально спаянных, еще скрывала предстоящие свои дары и кары.

Но настало время расставания. Помнится последний вечер в комнате у Марии Викторовны. И опять любимые стихи, так жутко провиденциальные, пророческие, то Владимира **Соловьева** («Уходишь ты и сердце в час разлуки уж не звучит желаньем и мольбой..»), то переводы из Сюлли-Прюдона («Вальс»)

В сердце юноши снова проснулась  
Грез, мечтаний былых череда,  
«Я люблю, я любила всегда!  
Но лобзание его не коснулось,  
Не коснется ее никогда.»

Настал и день отъезда из Грачева. Мне — обратно, через чудный лес к семейству Кобылинских, Марии Викторовне временно в Москву.

И здесь, как бы для устранения иллюзии жизнь повернулась подлинным своим лицом.

Усаживая Марию Викторовну в экипаж, Островский сам уселся рядом с видом полного и полноправного блюстителя, охотно уступающего временному обожателю несколько дней безвредной, ничего не означающей романтики.

Условившись на счет возобновления посещения в Москве, простился я с Марией Викторовной со сложным чувством умиления и грусти, боли и восторга.

С тем же чувством возвращался я чудесным лесом в свой, родным мне ставшим дом Варвары Петровны. Хорошо осведомленная о ненормальном положении в семье Островских, она с грустью видела мою вдвойне фальшивую в ней роль. Но, зная бесполезность увещаний и советов в этих случаях, она держалась в стороне, тем более, что вскорости ей предстояло переехать в Тулу с младшим сыном, поступившим педагогом в местную гимназию.

Московскую квартиру мы решили сохранить для одного из старших сыновей и для меня.

Сравнительная близость нашей квартирнки к Денежному переулку облегчала посещение последнего, чем я усердно пользовался по приезде Марии Викторовны в Москву.

Та же квартира, те же стены, та же комнатка со столь знакомыми гравюрами и видевшая столько горя и восторга. Элементов новых было только два: портрет Наполеона, заступивший место прежней Кавальери, да старик Виктор Петрович **Шперлинг**, поселившийся в квартире дочери и сына и занявший маленькую комнату своей бывлой жены.

Высокий, видный, правильно но с некоторым акцентом изъяснявшийся по-русски, он ничем не походил на свою дочь и всего менее простым, открытым обращением со мной.

Что же касается последней, то на первое, по крайней мере время, продолжался тот оттенок милого кокетства, за которым в дни Грачева чувствовался отзвук прежней близости, возможности ее возврата.

Но чем дальше, тем все больше нотки искренности исчезали, растворяясь в чисто внешней вежливости обращения.

Тщетно я пытался вернуть былую, прежнюю созвучность слов и мыслей. Потому ли, что по переезде в город жизнь внешняя лишилась той романтики, которой преисполнена была деревня, или по другой причине, но в столичном облике и обращении Марии Викторовны я не узнавал той поэтичной девушки, что направляла челн подольской речки и сулившая мне приносить цветы...

И вот за отпадением этой романтики, мы, оставаясь иногда одни, не находили темы разговора. Но то самое молчание, которое сближало нас, когда растроганные и смягченные мы шли по извитой лесной тропинке, или вдумчиво внимали плеску волн, чуть слышно набегавшей на челнок, — то же молчание теперь, среди булыжных улиц, было нетерпимо, говоря о нарастающей взаимной розни.

Подойди Мария Викторовна ближе к моему призванию, моим научным интересам, — это привнесло бы новый элемент и оправдание в наше вторичное сближение. Но такого интереса не было ни раньше, ни теперь. Напротив увлекалась Мария Викторовна сочинением Андрея Белого, витиеватый стиль которого мне был глубоко чужд, а неправдивость в обрисовке им изображенных лиц — противна.

Рознь, отчуждение нарастали с каждым днем и часом. Все обычнее и чаще в обращении ко мне сквозило явное и нескрываемое раздражение.

Как в несравненном Чеховском рассказе («Моя Жизнь») нарастал стихийный неминуемый разрыв героя повести и героини (тоже «Марии Викторовны!»), так и вторая наша встреча, вопреки ее поэзии, была обречена заранее всем предыдущим нашим прошлым.

Слишком рано и поспешно, нерасчетливо сожгли мы наши первые цветы и неслучайно, как-то раз, в минуту откровенности, мне сделан был упрек: — «Зачем вы меня тогда поцеловали!»

Да, этот первый мой, до срока сорванный когда-то поцелуй!

Но точно ли до времени? Точно ли ложный? Не был ли он тем «красным» огоньком, который безотчетно для меня сигнализировал тогда же ложный путь моего жизненного поезда..

Но этот мной самим и для меня же поданный «сигнал», он мною не был понят и мой «жизненный состав» (включая мой уже имевшийся Музей!) мчался по ложному пути, теряя по дороге часть своего груза (часть коллекций, розданных, позднее, правда, мне вернувшихся) в годы, всецело отданные Марии Викторовне.

Потребовался новый, более реальный стрелочник и он явился в образе Островского. Реальнее, грубее, откровеннее, чем поцелуй, он вовремя предупредил мой брак с боготворимой, но по существу мне совершенно чуждой девушкой.

А самая повторность моей встречи с ней? Ее значение и смысл, как и моего вторичного разрыва?

Но ведь первый мой разрыв, куда, к чему привел он? К беспредметному двухмесячному прозябанию в степной усадьбе самодурного помещика. Сердечный шок мой оказался недостаточным, чтобы извлечь единственный из него вывод: **заграничную поездку**, столь решающую для моей последующей жизни.

Лишь второй разрыв, неизмеримо более жестокий и мучительный, дал внешний повод к этому решающему шагу.

Но предпринятый, вернее продиктованный разбитым сердцем, этот выезд за границу предreshал мой подлинный путь жизни, должный рейс моего жизненного поезда.

Пусть не сразу. Не под пиниями и лазурью Ниццы, не в лесах Шварцвальда, не на пламенных утесах Гельголанда, а под сводами Британского Музея: беломраморная статуя великого былого властелина мысли **Чарльза Дарвина** мне во время внушила мысль основания «**Дарвиновского Музея**» у себя на Родине:

Вернулся я на Родину в сопровождении двух образов: образа Дарвина и того женского облика, с которым я сроднился с отроческих лет. Этот последний облик, тонкое лицо, охваченное прядями волос, причесанными



«на пробор», — он не был мною позабыт но становясь чем далее, тем все туманнее, все больше удалялся от его реального прообраза и словно ждал своего нового живого воплощения.

Сравнительно нетрудно было воплотить в живую жизнь образ **Дарвина**.

Со всею страстью неопита я набросился на вещное осуществление его учения: претворить в наглядных вещных образах великую идею эволюции живой природы.

Дважды каждую неделю, в Среду и Субботу (дни, годами проводившиеся мною у Шперлингов!) я посещал Федора Карловича **Лоренца**, известного натуралиста-препаратора и замечательного человека, так тепло откликнувшегося на обращение мое к нему — помочь мне в моем деле — построение нового Музея.

Весь пылающий мой энтузиазм, весь мой пафос, — раньше отданный на мое большое и отвергнутое чувство, перенес я на свое идейное, согретое эмоционально, творчество: Любовь, переключенная на дело разума.

Но, как рожденное не только разумом, но зовом сердца, это начинание мое росло и развивалось сказочными темпами. И, как в былом моем служении моей любви не было жертв неодолимых для нее, так и строительство Музея моего возможно было лишь при жертвенном ему служении.

Труднее было воплотить второй заветный образ, — образ девушки, с которым я сроднился с отроческих лет, и подлинная роль которого мне приоткрылась много позже.

А застал в меня тот образ неискоренимо, соучаствовав отчасти даже в ускорении второго нашего разрыва.

Говорить подробнее о нем и о последнем разговоре, столь мучительно-жестоком незачем. Но, как в чудесно выполняемой симфонии один фальшивый звук способен повредить гармонии, как неудачно сделанный мазок может сорвать достоинство портрета, — так одна ничтожная деталь мне помогла навеки примириться с моей жизненной утратой.

Помнится, как в пасмурный морозный зимний вечер, изнемогая от страданий, в предвидении нового разрыва, чувствуя, что истекаю кровью, в страхе и отчаянии я постучался к Марии Викторовне.

И первое, что поразило меня, это — новая прическа: взбитые кверху, завитые волосы делали прежнее лицо мне совершенно чуждым, чтобы не сказать враждебным и отчасти вызвали ту мою реплику, которая определила роковой (или, вернее: правильный!) исход той встречи..

Так навсегда потух, погас реальный, жизненный прообраз девичьего облика, навеки зароненного в меня. Он ждал своего нового живого воплощения.

Но где найти его?

В громадном городе я был в ту пору совершенно одинок, успевши, за отъездом Кобылинских, растерять былые мне знакомые дома.

И вот, примерно в то же время, как я приступил к созданию Дарвиновского Музея, получил я приглашение работать на Московских Высших Женских Курсах.

С энтузиазмом согласился я, ценою даже угрожавшего мне увольнения из Университета, отрицательно смотревшего на это совмещение.

Как ярко памятны мне годы моего преподавания на Курсах!

Сотни юных девушек со всех концов России, съехавшиеся в Москву в искании знаний и идейной жизни и толпившиеся в скромных и наемных стенах, в узком переулке, близ Арбата. Сотни, тысячи их проходило на моих занятиях, на моих лекциях, в лабораториях.

Всецело занятый созданием своего Музея, я лишь мельком всматривался в этот женский молодой цветник...

Только однажды, правда, молодая девушка, медичка, с тонким профилем, с прической на пробор, с прикрытием висок, заставила меня невольно вздрогнуть и спросить себя: «Не эта ли?» Но, присмотревшись ближе, я тотчас же понял, что ошибся..

Как ни странно, но в ту пору мысль о решении вопроса о моей личной жизни при «посредничестве» Женских Курсов, мне не приходила в голову. Мне шел тридцатый год. Вопрос женитьбы становился все острее, но решение его искалось как-то в стороне от Курсов.

Одно время чудилась возможность породниться со семьей покойного натуралиста **Лоренца**, женившись на его прелестной дочери. Но перспектива ввергнуться в мало культурный (не в пример самому Лоренцу!) мещанский быт «московских немцев» вскорости заставил отказаться от такой затеи. Были и другие беглые наметки, также обнаружившие свою явную надуманность.

Реальнее казалось разрешение чрез посредничество семьи Бугайских, (родственников Надежды Михайловны **Шперлинг**), наезжавших иногда в Москву и мне рассказывавших о жившей в их именье, в роли гувернантки, юной девушке Надежды Б.

Возможно, что и обо мне им приходилось ей рассказывать. Как бы то ни было, но к одному из их очередных приездов, я, пришедши по их приглашению в гостиницу, застал там миловидную блондинку, сразу же расположившую к себе.

В течение ближайших дней это знакомство обещало сделаться все более серьезным, выражаясь в моей скромной помощи ей, в качестве учительницы, предоставлением школьных пособий для преподавания зоологии.

И также не случайно было то, что приглашенная на Курсы для осмотра моего Музея вместе с семьей Бугайских, эта девушка решила осмотреть его отдельно, независимо от них.

Все приближалось к намечавшейся развязке, когда вдруг среди курсисток появилась вновь одна, невольно привлекавшая мое внимание еще год тому назад, но с опозданием приехавшая в этот год.

Миниатюрная, с тончайшим идеальным профилем, глубоким взглядом золотистых глаз, она увенчана была тяжелой короной золотых каштановых волос, с прической «на пробор», густыми прядями спускавшимися на виски.

То была подлинная, настоящая красавица, какой она негласно и считалась среди нас, преподавателей и слушательниц, давших ей шутовское название «Клео де Мерод», по имени одной в ту пору заграничной балерины, славившейся красотой и именно такой прической.

Появление этой девушки было решающим: «Она!»

Не зная нечего о ней, не обменявшись с ней дотоле ни одним ответственным, глубоким словом, я всем существом своим прикован оказался к ней.

То в белом, скромном но прелестном для меня лабораторном фартучке, сосредоточенно над микроскопом; — то в чудесном сарафанчике, перекликавшемся с каштановыми копнами волос; — то в черном траурном, на шейке вырезанном одеянии с двойным латунным ободком, словно венцом из золота, охватывавши крону золотых волос, — она всегда, во всех видах была очаровательно-неотразима.

Помнится, как, проходя мимо лабораторной залы в свою комнату, служившую мне складом для моих коллекций, каждый раз с волнением останавливался я на милом образе, там, в уголке, у крайнего окна.

Уверенный, что именно она, давно искомая, обещанная, я решился, наконец, спросить ее об ее имени.. — «*Надежда!*»

Но и та, что так недавно подошла почти вплотную к моей жизни и так настороженно ожидала моего решительного слова, называлась этим именем. Которой же из двух «Надежд» мне суждено было доверить свою жизнь и свое призвание?

И помнится решающий морозный зимний вечер. Не желавшая прийти в Музей совместно со семьей Бугайских, эта девушка пришла одна.

После осмотра части моего музея в нижнем зале, я повел ее в ту его часть, что помещалась временно в библиотечной комнате.

Дорога к ней лежала на пути лабораторной залы. И когда мы проходили мимо, я поймал на себе взгляд другой Надежды, в ее черном платье, с ее тонким профилем в оправе низко спущенных с висок каштановых волос.

И этот профиль, эта низкая прическа предрешили все.

И демонстрируя свои коллекции, своих лазурных бабочек моей не для осмотра их пришедшей миловидной гостье, я почувствовал, что не могу сказать решающего слова..

И она ушла, сошла навеки с моего пути, моего жизненного рейса. Много позже глухо донеслись до меня вести, что и ей дано было удачно сочетать свой путь с другим, быть может, более спокойным, более уверенным, чем мой. Но до сих пор, спустя без малого полвека, меня жгут укоры совести за то, что в свое время, не понявши самого себя, я обнадежил ее больше, чем оправдывала жизнь.

А жизнь торопила.

Возвратившись в свою комнату, я неожиданно застал там ту, которой суждено было занять со мною рядом место в моем жизненном челне.

Не помню, с чего начал я тогда взволнованную речь. Тем ярче все последовавшее за ней.

Стояла мертвая, торжественная тишина и мы одни вдвоем в большом безлюдном доме, в маленькой коморке, слабо освещенной тусклой лампой, в окружении шкафа с книгами и сказочными образцами жизни экзотической природы.

Но волшебнее и сказочнее, чем лазурные сверкающие крылья моих бабочек, сияли взоры милой девушки, росла и ширилась в моей душе ликующая радость от сознания подлинной, давно обещанной и ожидаемой встречи, что вошла в мой жизненный челнок ее мне предназначенная спутница.

И если среди тысяч юных девушек и среди них, быть может, многих, что готовы были бы откликнуться на мой призыв, отозвалась именно та, которой суждено было не только увенчать мой жизненный посильный труд, но и спасть его несчетно раз, — если в толпе чудесных русских девушек я угадал эту единственную в мире, — то не соучаствовал ли в этом подлинно волшебном «выборе» тот образ, пусть обманчивый и ложный, но с которым я сроднился с отроческих лет ценой безмерных мук и жертвенного ожидания.

Но если так, — то не напрасны были все те жертвы и страдания, ошибки, промахи и разочарования.

И лишний раз лишь подтвердилось и на этот раз мудрое слово, высказанное некогда великим гуманистом — **Лессингом**:

«Неверно, что кратчайший путь — всегда прямой!»

---

И вот, охватывая общим взглядом предыдущие страницы, нелегко сказать, что в них заслуживает больше удивления: та ли настойчивость, с которой я десяток лет вынашивал любовно образ девушки, мне в сущности идейно чуждый и порой враждебный, или глубочайшая оправданность этой иллюзии в моей последующей жизни.

И действительно. Допустим даже, что мой жертвенный порыв, — замена моего природного призвания — музейца и зоолога на таковой врача не был бы принят. Предположим далее, что не было бы и того до времени сорвавшегося поцелуя, что нам удалось бы соблюсти заветы Фаустовского Мефистофеля, и что две жизни наши внешне сочетались бы в одну..

Ни о каком создании Музея не могло бы быть и речи. И не только потому, что для привыкшей, если и не к роскоши, но все же к некоторому комфорту девушке-дворянке жертвовать им ради некоего чуждого «Музея будущего», — было бы заведомо и совершенно неприемлемо.

Но также не было бы Дарвиновского Музея без моей поездки за границу, в частности, без посещения Англии, Британского Музея, мне внушивших претворить мои уже имевшиеся уникальные коллекции под знаком Дарвина и продолжать их сборы в свете эволюционного учения.

И однако, с названной поездкой следовало торопиться и всего лишь четырьмя годами позже та же самая поездка оказалась бы в музейном отношении бесцельной, именно поскольку лишь при жизни **Лоренца** (умершего в 1909 году) возможно было думать об организации Музея подлинно столичного достоинства и ранга.

Но допустим даже, что наперекор всем этим трудностям или преградам, нечто вроде Дарвиновского Музея удалось бы сконструировать, что удалось бы даже «отработать» богатейшее наследие Лоренца «за плату чучелами», удалось бы передать Музей, как то имело место, Высшим Женским Курсам... А дальнейшая судьба Музея при Советской власти?

Опуская даже ряд семейных отрицательных моментов (младший брат Марии Викторовны, Николай, талантливый художник, друг интимный **Скрябина**, стал эмигрантом; старший брат, Сергей, несориентировавшийся в нашей Революции, умер в тюрьме; — в лице же Марии Викторовны Музей мог в лучшем случае приобрести хорошего врача, а не крупнейшего ученого, монументальные научные труды которой обеспечили за сорок лет известность Дарвиновского Музея за пределами России и Европы. Без моей Надежды невозможно было бы создание двух венчающих разделов экспозиции музея: Антропогенеза и Эволюционной Психологии.

Из двух столь разных по душевным свойствам русских девушек, одна, ни мало не осознавая своего участия, невольно навела только на мысль о создании музея, натолкнула на идею основания его, другая — преданно-самоотверженно-любовно помогла осуществить идею.

Там — рождение идеи, здесь ее реализация.

Без первой встречи с ее должным, неминуемым разрывом — не было бы мысли о Музее; без второй — пожизненной и должной — невозможно было бы реально-вещное практическое построение Музея.

Так причудливо и знаменательно сплетаясь, обе эти встречи предопределяли жизненный мой «рейс» и выполнение его задачи: основание **Дарвиновского Музея**.

И, однако, обе эти встречи были заведомо и совершенно невозможны, если бы за ними не стояла, их опережая, третья девушка, вернее, первая: скромная дочь священника из захолустного Алатыря.

Одна из первых девушек с классическим образованием, подлинно передовых, предшественниц тех тысяч, что позднее заполняли стены Высших Женских Курсов — моя первая учительница Александра Николаевна **Милотворская**.

Не будь ее, ее настойчивых советов, настояний о переведении меня в Гимназию, — я был бы обречен на окончание «реальных» классов «ПетершULE», открывавшей мне лишь в коммерцию, в торговлю...

И, однако, самый перевод меня в Гимназию возможен был лишь дорогой ценой: именно смерти брата, уступившего мне место в жизненном челне, мне, — безотчетному, невольному виновнику безвременной его кончины.

Сходным образом, ретроспективно восходя назад к более ранним годам моей жизни, мысль невольно останавливается на двух моментах: всего прежде, на отказе моей матери от брака с **Цингером**, прославленным профессором в Московском Университете. И, действительно, кто, как, куда направил бы мою любовь к Природе этот выдающийся геометр-ботаник, привелось мне оказаться в положении его пасынка? Не стал бы я ботаником, подобно двум его впоследствии столь хорошо известным сыновьям? Но тем самым, разумеется, отпала бы и всякая возможность основания **Дарвиновского Музея**, именно поскольку претворенные в «музейную» экспонатуру, самые изящные растения превращаются в «прессованное сено».

Но не та же ли опасность для создания Музея угрожала бы мне также от отца-ботаника, ушедшего из жизни так внезапно и так рано.. Не переключился бы я сам на мир растений, так любовно изучавшийся моим отцом?

И, наконец, апофеоз и апогей «случайностей»: самая жизненная встреча молодых моих родителей, заочное знакомство и заочная помолвка на базе «языка цветов», или сонетов.

А теперь попробуем свести итоги всем этим «случайностям».

**Случайно** молодой ботаник-геттингенец из далекого Берлина встретился с безвестной молодой учительницей в семье **Некрасова**.

**Случайно** — и на почве лишь ботаники безвестный молодой учитель и поэт знакомится с московским математиком-ботаником **В. Цингером**.

**Случайно** — в жгучий морозный январский день смертельная простуда моего отца и его смерть.

**Случайно** — отказ молодой вдовы, моей матери, от брака с **Цингером**, сулившего безбедное существование.

**Случайное** заболевание и смерть моего брата в результате детской ссоры, мною вызванной.

**Случайно** — появление в нашем доме девушки (А.Н. Милотворской), по настоянию которой я переведен был в Гимназию, на место брата.

**Случайно** — где-то далеко в Крыму, в безвестном небольшом имении («Преображенка») — разлад семьи Над. Мих. Шперлинг и отъезд ее в Москву с тремя детьми.

**Случайное** помещение обоих мальчиков в ту же Гимназию, в которую был отдан я.

**Случайное** мое знакомство с ними.

**Случайное** проведение мною лета 1897 г. на рижском взморье.

**Случайное** проведение того лета семьи Шперлингов под Смоленском, на пути обратного возвращения моего в Москву, что позволило мне неделю прогостить в ней.

**Случайное** содействие дальнейшего сближения с этой семьей оставлением на второй год в IV Класе (вместе с младшим Шперлингом) и позднее совместные занятия в доме последнего.

**Случайная** помощь, оказанная мне в последнюю минуту Инспектором Гимназии на выпускном экзамене по математике.

**Случайность** проведения лета 1900 г. В Дмитровском имении Поливановых, в близком соседстве с таким Н.М. Бугайского, брата Над. Мих. Шперлинг, поселившейся на лето вместе с детьми в имении последнего.

**Случайность** поселения Шперлингов в квартире над Островскими. И вытекавшая отсюда бытовая близость этих двух семей, сыгравшая решающую роль после трагической кончины матери Марии Викторовны: сближение ее с М.П. Островским.

Но и после моего разрыва с обожаемой а в сущности мне чуждой девушкой, вторичное мое сближение с ней было не менее «случайным»:

И в самом деле. Проведение мною лета 1904 года под Подольском было как бы providentially: ни я, ни приютившая меня на это лето семья **Кобылинских** не подозревали, что в немногих километрах в то же лето будет проживать семья Островских и на положении «полуродной» — и Марии Викторовны.

Но ведь не будь этой «подольской» моей встречи с ней, вторичного сближения и вторичного разрыва — не было бы повода и для моей поездки за границу, обусловившей идею основания мною Дарвиновского Музея.

Более того. Как бы для завершения этой «горы случайностей», возникновение самой этой идеи было обусловлено моментом, еще менее учитываемым.

И в самом деле. Изучение музеев континента Зап. Европы вскрыло только их несовершенство (именно отрыв от эволюционного учения), без указания путей их исправления.

Эти последние были навеяны лишь изучением Британского Музея, пусть несовершенного по линии дарвинизма, все же подсказавшего мне способы увязки экспозиции зоологических музеев с дарвинизмом.

И, однако, посещение Англии и изучение ее музеев не входило в план моей поездки за границу из-за недостатков средств.

Осуществилась же моя поездка в Лондон лишь в итоге совершенно непредвиденных причин, при том довольно прозаического свойства.

Мой былой в то время ученик, именно старший сын известной о ту пору общественной деятельницы, графини В.Н. Бобринской, в доме которой я давал private уроки по Естествознанию, — Коля Бобринский (ныне видный зоолог и профессор МГУ) имел несчастье «провалиться» на экзамене в Гимназии. Желая приохотить сына (страстного зоолога) к широкому охвату умственной культуры, мать отправила его в то же лето за границу для ознакомления с музеями и Выставками Зап. Европы, в том числе и Англии. Поскольку же сопровождавший юношу руководитель-воспитатель (мой товарищ по Гимназии) был неестественник,

мне письменно было предложено принять участие в этой поездке в Англию без всяких личных для меня затрат.

Мое знакомство с Лондонским музеем а тем самым основание мною Дарвиновского музея были таким образом в конечном счете обусловлены ингредиентом, прямо противоположным от культурных факторов: «провалом» моего питомца, Коли Бобринского на экзамене.

Таков был заключительный, решающий момент в истории создания Дарвиновского Музея.

А теперь попробуйте в этом сменяющемся хаосе самых различных встреч, знакомств, переживаний и решений, в этом хаосе «случайностей» определить решающую доминанту!

Попытайтесь мысленно вообразить, представить молодого человека, склонного или способного использовать весь этот мнимый хаос для одной, единой творческой пожизненной идеи: не имея ни особых связей, ни необходимых средств (по типу таковых московских меценатов — Остроуховых и Третьяковых!), — приступить к созданию крупнейшего в Москве естественно-научного музея нового дотоле неизвестного в Европе типа, — претворить все эти мнимо-хаотические факторы и факты в целостное творчество на время целого полвека.

Более, чем где-либо уместно вспомнить вещие слова великого поэта и мыслителя-натуралиста **Гете**:

— «Пусть попробует кто-нибудь с одной только человеческой волей и человеческими силами создать нечто подобное!»

И да простится мне, если мой скромный очерк, посвященный скрытым, но решающим подпочвенным условиям создания Дарвиновского Музея, я позволил себе заключить и оправдать словами Веймарского мудреца.